

Ф. Д. Чащин

Белая Криница



Ф. Д. Чащин

Белая Криница

Кишинев
Картя Молдовеняскэ
1985

86.1
Ч 30

Чащин Ф. Д.

Ч 30 Белая Криница.— Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1985.—223 с.

Молодая девушка, кончавшая румынскую гимназию, силою обстоятельств оказалась перед войной на Буковине, в Белой Кринице, где находился бывший оплот старообрядчества — его митрополия, и вынуждена была постричься в монахини. Вскоре она поняла, что попала в мир лжи и интриг, ханжества и зла, в мир, который претил ее жизнелюбивой и жаждущей справедливости натуре.

О дальнейшей судьбе девушки и о судьбе старообрядческой митрополии читатель узнает из этой книги, которая написана Ф. Чащиным на документальной основе.

Ч $\frac{0400000000-287}{М751(12)-85}$ 55—85 86.1

Предисловие

В этой книге отражены некоторые моменты последнего периода существования Белокриницкой митрополии — периода ее распада. Описанные в ней события не являются вымыслом автора, они достоверны. Не вымышлены и действующие лица, большинство из которых — старообрядцы.

Фигурирующие в повести старообрядцы — потомки приверженцев и последователей «старой веры», которые во второй половине XVII века выступили против церковной реформы, проведенной с одобрения царя Алексея Михайловича патриархом Никоном. Целью реформы были централизация русской православной церкви, преодоление автономии церковной власти, необходимость покончить с пестротой религиозного культа и остатками языческих верований на Руси.

У патриарха Никона сразу же появилось много противников, обвинивших его в отступлении от «древлего благочестия», от «старой веры», освященной авторитетом Стоглавого собора 1551 года. Произошел раскол церкви на официальное православие и ту его ветвь, которую стали называть старообрядчеством и которую возглавил в то время знаменитый протопоп Аввакум — талантливый писатель и неистовый религиозный фанатик.

Старообрядческое движение охватило широкие слои русского общества — крестьянство, городские низы, буржуазию. Оно стало крупнейшим религиозно-общественным движением дореволюционной России. В нем отразился стихийный, неосознанный протест, порожденный социальными противоречиями самодержавно-крепостнического строя идеологическим засильем официальной православной церкви. Протест этот, социальный в своей основе, был облачен в мистическое покрывало «старой веры». Сторонники старообрядчества подвергались жесточайшим преследованиям, казням. Поэтому многие староверы бежали за пределы России — в Турцию, Польшу, прибалтийские государства. Постепенно социальный протест в старообрядчестве утратил свое значение, и оно превратилось в чисто религиозное направление, пронизанное консерватизмом и архаичностью, буржуазное по своей сущности.

Уже в конце XVII — начале XVIII века, когда перед приверженцами «старой веры» остро встал вопрос о создании собственной церковной организации, старообрядчество разделилось на два основных направления — поповщину и беспоповщину. Часть старообрядцев

решила обходиться без попов и вести церковную службу с помощью начетчиков и уставщиков, которые иногда выступали и теоретиками «древлеправославной веры». Их стали называть беспоповцами. Другие же, поповцы, сочли возможным принимать переходивших к ним священников из официальной православной церкви.

В дальнейшем эти два основных направления начали дробиться, и возникли многочисленные согласия и толки, причиной чего была социальная неоднородность представителей старообрядчества и отсутствие единого старообрядческого центра. Сторонники поповщины задумали основать свою иерархию не в России, а за ее пределами. В 1846 году им удалось создать ее на территории Австро-Венгрии — в Белой Кринице. (Отсюда и пошло название «австрийское согласие».)

Вскоре после этого в Москве, на Рогожском кладбище, возникла старообрядческая церковь белокриницкого согласия, которая очень быстро заняла главенствующее положение в поповщине и стала основным, наиболее значительным по числу сторонников и богатству течением в старообрядчестве.

Острое соперничество между Белой Криницей и Московской митрополией было в течение всего столетнего существования первой. Этим и объясняется описанный в книге факт, что в период критического состояния Белой Криницы, когда последний митрополит Тихон бежал за границу, рогожские «австрийцы» ничего не сделали для того, чтобы сохранить ее.

Кризис «старой веры» обнаружился уже во второй половине XIX века и был обусловлен тем, что старообрядческое движение к этому времени полностью исчерпало свои оппозиционные возможности, которые в прошлом привлекали к нему широкие народные массы. Кризисные явления усиливались по мере обострения классовой борьбы и развития революционного движения в России. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и построение социалистического общества в СССР привели старообрядчество к глубокому упадку, резкому сокращению его численности, к утрате былого величия, богатства и влияния на верующих. Социальные корни его были подорваны.

Оказавшись после 1918 года на территории буржуазно-помещичьей Румынии, Белокриницкая митрополия свое былое значение потеряла, и всякая связь между нею и Белокриницкой церковью в СССР прекратилась.

Когда в 1940 году на Буковину пришла Советская власть, среди остатков духовенства и монашества Белой Криницы началась паника, особенно среди старцев и стариц, закосневших в своей фанатичной преданности старым религиозным догматам. Но ушла в светлый мир значительная часть молодых «сестер» и «братьев», которых старцы и старицы «проглядели». Одной из первых ушла сестра Анфиса (до

пострижения — Анна Колосова). Попав в монастырь из-за своего деспотичного и своенравного отца, который, желая завладеть миллионами дряхлого старика, решил выдать за него свою дочь, она оказалась свидетельницей событий, которые разворачивались в митрополии в предвоенные и военные годы.

Для старообрядческих общин и монастырей была характерна весьма своеобразная психологическая обстановка, создаваемая многочисленными правилами и запретами, которые в Белой Кринице соблюдались особенно строго. Внешне в митрополии все было благопристойно, но внутренние противоречия с годами нарастали все больше и не могли не расшатать окончательно Белокриницкую церковь.

С приходом на Буковину новой жизни эти противоречия усилились, а война стала тем толчком, который способствовал крушению вековых устоев, так почитавшихся престарелыми монахинями и монахами. Этот затхлый, ограниченный мир распался необратимо — такова основная мысль книги.

Жизненный путь Аннушки еще раз убеждает нас в том, что религиозное мировоззрение сковывает творческие силы человека, духовно обедняет его, неизбежно приходит в конфликт с его естественными чувствами и устремлениями. Он убеждает нас и в том, что освобождение от духовных уз религии открывает возможность всестороннего развития творческих сил и является одним из главных условий расцвета человеческой личности.

Достоинство книги Ф. Чащина заключается в том, что она основана на богатом фактическом материале. Автор хорошо знаком и с историей, и с современным состоянием старообрядчества. Поэтому он избежал упрощенного, шаржированного изображения религиозной жизни, какое, к сожалению, еще встречается порой в нашей литературе.

Ф. Чащин подводит читателя к выводу о том, что в условиях современного мира кризис религии — в любой ее разновидности — закономерен и неизбежен. Нет сомнения в том, что его книга вызовет самый живой отклик у широкого круга читателей, а некоторым из них поможет найти свой путь к подлинной духовной свободе.

В. МИЛОВИДОВ,

старший научный сотрудник Института научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС, кандидат исторических наук



Побег

И через золото слезы льются
(русская народная пословица)

В широкой Бельцкой степи, с ее небольшими зелеными холмами и щедрым солнцем, всегда прекрасно родился хлеб. Повсюду были раскиданы лоскутки пшеничных и кукурузных крестьянских полей. Но в селе Кунича[1], притаившемся в глубокой балке, предпочитали сажать сады, и оно всегда было богато яблоками и сливами, сладкой виноградной ягодой и вином. Чудесные плоды куничских садов исстари вывозились в больших количествах и пользовались большим спросом.

Перед первой мировой войной появился в селе Анисим Саввич Колосов. Был он старовер. И жители села, тоже староверы, не имели ничего против, чтобы он поселился среди них со своей семьей.

Чем занимался раньше Анисим Саввич — то было неведомо, но узнали люди, что пришел он не с пустой мошной. Начал он с того, что построил в селе просторный крестовик[2] и купил двадцать десятин плодородной земли. Пшеницу сеять не стал, а по примеру соседей все занял садом.

Не успели окрепшие деревца дать первый урожай, как граница прошла по Днестру и выгодный российский рынок оказался отрезанным. Сбыта на фрукты не стало, хоть сады вырубай. Загрустили куничские: за воз яблок и на пару сапог не выручишь, а из сливы разве что цуйки[3] нагонишь. Другой бы мужик быстро в трубу вылетел. Но не таков был Колосов. Понастроил он лозниц[4] и стал сбывать сухофрукты, больше всего вяленый чернослив. За черносливом перекупщики из самого Бухареста ездили, однако Анисим Саввич от их услуг отказался. С какой стати староверские деньги должны уплывать на сторону? Стал он с иностранными фирмами сам

---

[1] Ныне в Каменском районе МССР.

[2] *Крестовик* — рубленный из бревен дом, разделенный крестообразно на четыре комнаты.

[3] *Цуйка* — домашняя сливовая водка.

[4] *Лозница* — примитивная сушилка для фруктов.

торговлю вести. И потекла к нему в карман звонкая монета.

На удивление сельчанам в такое трудное время Колосов быстро разбогател. К крестовику пристроил он по сторонам боковушки, а для дочери — светелку. Теперь дом стал делиться на черную и белую половины. В черной на полатях работники спали, одну боковушку сын Савелий с женой занял, а вторая была отдана младшему — Поликарпу, где он иконы стал писать. Савелия можно было бы и выделить, но Анисим Саввич не хотел: без своего, без доверенного человека в торговых делах трудно. В белой половине все было на купеческую ногу: мягкие диваны и кресла, венские стулья, горки с дорогим фарфором, сундуки с добром. В гостиной на стенах картины в золоченых рамах, на полу ковры. Над круглым дубовым столом — лампа-молния. Для деловых разговоров стоял еще один стол у дивана. В спальне никелированные варшавские кровати с блестящими шарами на верху спинок, на них высокие перины-пуховики, атласные одеяла. В углу киот[1] с образами и негасимой лампадой. В моленной[2] стены были увешаны старинного письма иконами в дорогих окладах, а в прикрепленном к полу кованом сундуке хранились ценные бумаги и деньги.

В доме у Колосовых придерживались старины, дедовских законов и обычаев. Первое слово было всегда за главой семьи. Как хозяин скажет — так все и выходило. Хозяин с хозяйкой ладно не жили. А все оттого, что Анисим Саввич жену свою, Матрену, никогда не любил. В женихову пору потерял он было голову от ее младшей сестры Таисьи. А сговор[3] родителей был именно о ней, старшей. Таисью, чтоб не мешала, отправили погостить к родственнице в Белую Криницу[4] Там она хотела руки на себя наложить, да удержалась и в монахини постриглась. Анисима же с Матреной быстренько окрутили.

Долго потом Колосов не мог позабыть свою за-

---

[1] *Киот* — остекленный ящик или шкафчик для икон.

[2] *Моленная* — комната для молений в доме у старообрядцев.

[3] *Сговор* — соглашение родителей жениха и невесты о их браке.

[4] Имеется в виду женский монастырь. Белой Криницей в ту пору называли и село (на Буковине, за рекой Сирет), и обители, что раскинулись рядом,— мужской и женский монастыри, церкви и покои митрополита.

знобу. Для людей она была теперь сестрой Тикусой. Первое время то и дело ездил к ней, а родным говорил, что на моления. Но потом каким-то образом об этом узнала игуменья[1], и начались у молодого Колосова неприятности. Только-только на ноги начал он тогда становиться, торговлю завел, обрел самостоятельность, и вдруг слухи про него пошли нехорошие, будто в монастыре женском шашни завел. Крепко с ним поговорил отец, видя, что далеко заведет его эта связь, и пригрозил лишить наследства, если наезды эти в Белую Криницу не кончатся.

Не любила и Матрена Анисима, но грубость и равнодушие мужа переносила безропотно. Она считала себя виновницей того, что у сестры жизнь так сложилась. Первые годы ходила по дому, опустив очи долу, ничего не видя, ничего не слыша. Не замечал ее муж — терпела, а бранился — молчала. Но годы шли, и все труднее ей было жить бок о бок с этим человеком, сносить его небрежение. «Чем я заслужила такое? — часто думала она вечерами, когда, умаявшись дневными хлопотами, садилась в одиночестве у окошка.— Дом веду справно, без всяких помощников с таким хозяйством управляюсь, пока он по торговле[2] ездит. Сынишка, Савелюшка мой, растет да глаз радует — вылитый Анисим. Чего, кажись бы, надобно еще? Ан нет, смотрит волком, все ему не так, все не по нем, а то и вовсе про меня забывает. И мне хоть в воду, мне хуже прислужки жить в этом дому».

Стала Матрена чувствовать порою, как озлобление входит к ней в душу. Потом зачастила на моления в Серковский монастырь[3], надеясь, что тоски поубавится. Однажды, когда она с жаром молилась, обратил на нее внимание один монах. Он подметил и молодость ее, и печаль в лице, и то, как, молясь, судорожно сжимала она руки. Подошел к ней, ласково расспрашивал, долго утешал. Чуть оттаяла у нее льдинка в груди. Стали они часто видеться, душевно беседовать. Немножко тепла — и веселее стало, и уже не все черным Матрене казалось. Монах и был рад. «Живой душе калачика хочется»,— говаривал он. Слова для Матрены находил самые приятные, каких она с детства не слышала.

---

[1] Настоятельница монастыря.
[2] По торговым делам.
[3] Недалеко от города Яссы.

Узнал Анисим Саввич про эти моления жены. Вмешался, но поздно уже было. Монахов «калачик» вторым ребенком обернулся. Еще роды не подошли, как Анисим Саввич однажды сильно поколотил жену, во хмелю вернувшись домой. «Знай край, да не падай»,— говорили на этот счет соседи, качая головами, осуждая и его и ее.

Родился второй сын, Поликарп, горбатеньким. Анисим Саввич хотел, чтобы бог прибрал мальчишку, но тот, как назло ему, выжил. Понапрасну отец его не обижал, но и лаской не одаривал. Жили они, вроде и не замечая друг друга. С малолетства Поликарп пристрастился к рисованию и теперь уже был завзятым иконописцем, имел много заказов от церквей.

Зато дочку Аннушку, что родилась через три года после Поликарпа, Колосов любил больше всех на свете. Теперь ей уже семнадцать лет исполнилось. Она училась в Бельцах в женской гимназии — случай у староверов не частый. Староверы обычно не стремились дать детям большое образование, но Колосов и здесь выгоду видел. Он рассуждал: «Грамотная девушка, по теперешним понятиям, больше ценится. Ей скоро замуж, так она, выйдя за богатого, и дом со вкусом обставит, и принять гостей, как положено, сможет».

Правда, до сих пор Анисим Саввич думал о замужестве дочери лишь как о будущем, но недавно вдруг жених объявился. Да еще какой! В руках у него чуть ли не вся торговля дунайской сельдью, а сколько баркасов и больших пароходов, лабазов[1] и лавок. «Торговать-то ему сподручно,— думал Анисим Саввич,— живет в Вилкове самом. Невелик городок, да лежит прямо в устье Дуная, у моря».

Повез как-то Колосов Аннушку на знаменитую Пырлицкую ярмарку. Народу там всегда собиралось со всех сторон тьма-тьмущая. У Аннушки каникулы были. Отцу хотелось ей удовольствие доставить, пока от ученья отдыхает. Пусть на людей посмотрит да и свет на нее поглядит. Не зазорно такую дочь людям показать. Еще совсем недавно была длинноногой худенькой девчонкой, а сейчас красивая барышня, легкая и стройная, как колосок, говорит — заслушаешься, взглянешь — глаз не оторвешь от нежного личика, от бровей соболиных,

---

[1] *Лабаз* — рыбный склад.

от глаз больших серых, маленьких розовых губок. Когда отец и дочь шли по улице, на них то и дело оглядывались.

...В один из дней повстречали они на ярмарке вилковского купца Сергея Леонтьевича Сухорукова. Вместе побродили в рядах, посидели в трактире. По дороге в гостиницу зашли в ювелирную лавку. Здесь Сухоруков ожерелье янтарное купил и подарил Аннушке. Понравилась купцу девушка. На другой день он уже прощался — нужно было уезжать, ждал его дома пароход.

— Ох и туга у него мошна,— сказал Анисим Саввич дочери,— ох и туга. Куда старику такая пропасть денег?

— Сбросить бы тебе годков сорок,— вроде бы в шутку сказал он Сухорукову при расставании,— глядишь и был бы жених для моей дочки.

Купец, против ожидания, посмотрел на него серьезно.

— А я и теперь в себе силушку чувствую,— скрипучим голосом ответил он, помолчав, и добавил хвастливо:— Вот возьму и посватаюсь, хе-хе-хе...

— Старуху-то куда денешь? То-то и оно...

Больше об этом не говорили, распрощались.

И вот неожиданно после пасхи Сухоруков в Куничу гостем явился. Словно снег на голову свалился. Рассказывал, что вдовцом остался. Хозяин выражал сочувствие, а у самого с ума не сходило: «Неспроста тугая мошна ко мне прикатил. Никак дочку-то мою в жены себе высмотрел, старая перешница!»

Выпили по чарке-другой, и вилковский купец, словно разгадали его мысли, давай свататься:

— Приглянулась мне дочка твоя, Анисим Саввич. Без лишних слов скажу: стар я, люди скажут — в женихи не гожусь, да только ты то в рассуждение возьми, что сколько годочков мне ни осталось,— все мои, все прожить хочу, как нравится, а коли дочку за меня отдашь — ого!— не в накладе будешь. Такой же размах в деле возьмешь, как и у меня. Ну, а Анна Анисимовна — так ей только что жар-птицы будет не хватать. Не хужее придворной княгини заживет, уж как я буду холить ее, угождать ей во всем!— Старик выжидающе уставился на собеседника голубоватыми выцветшими глазами.

Оскорбился для виду Анисим Саввич. А как же — сватается, туда же, а сам не то что в отцы — в деды годится Аннушке. Но все думал отец: «Куда ни кинь, все клин — выгоднее партии девке не сыскать. Молодой мил

лионщик, к примеру, сам своими миллионами управлять бы стал, а мне от того какой прок? Недаром говорят, что дочь — чужое сокровище: растишь, растишь ее, учишь уму-разуму, а потом отдавай в чужие руки. А тут, даст бог, все по-другому повернется. По всему видать, не протянет долго Сухоруков: такая худоба, и грудь впалая, как у чахоточного, под глазами круги синие, на голове плешь — двумя ладонями не прикроешь. Главное же — пьет много. Да... Где ему долго жить... А коли так случится, то с миллионами-то Аннушка хоть куда. Богатая молодая вдова для других миллионщиков, что магнит. Сможет тогда выбрать себе мужа и по любви.— Мысли Анисима Саввича залетели так высоко, что самому стало страшно.— А я понастрою по всей округе фруктовых сушилок, и не будет мне конкурентов. Вот это да, не светило, не горело, да вдруг припекло! Удача настоящая, и сама в руки плывет, как не схватить?»

Целую ночь толковали гость и хозяин с глазу на глаз, закрывшись в моленной. Поладили. Порешили на том, что в случае смерти Сухорукова все капиталы и промыслы перейдут к Аннушке. Волю эту свою он должен был огласить в канун свадьбы при нотариусе. Свадьбу же сговорились готовить немедленно. Перед тем как лечь, долго молились.

Утром оба в дорогу собрались: Колосов за дочерью в Бельцы, жених за сватами в Кишинев.

Перед отъездом Анисим Саввич решил рассказать обо всем жене. Побледнела Матрена, затряслась и в крик на весь дом.

— Что задумал-то, леший! Креста на тебе нет, погубитель ты этакий! Мало тебе моих слез было? Отвечай, мало? Теперь доченькиными умыться хочешь? Побойся бога, Анисим, не отдавай дитя на муку такую, умоляю тебя!

— Тьфу ты, безмозглая баба!— сплюнул в сердцах Анисим.— Что с тебя взять, полоумной? Ты бы подумала, какие миллионы к Анке в подол сыплются! Послушай, что я тебе скажу,— примирительным тоном зашептал он ей на ухо,— ты присмотрись к женишку получше, увидишь, какой он испитой. У него на лице написано, что не жилец он. А как овдовеет дочь, так любой будет у ее ног, с ее-то богатством. Вот и выберет она себе друга сердечного на долгую жизнь, опять же с капиталами. Из Куничи мы в приличный город переедем,

дом на широкую ногу поставим. Такое счастье раз в сто лет случается, только лови его да держи покрепче...

— Отстань ты,— оттолкнула его Матрена.— Каким был бессердечным, таким и остался. Разве ладное задумал? Про Сухорукова ведь говорят, что он не только вилковских рыбаков обирает, но еще и убийца. Старуху-то свою, сказывают, порешил, камнем по голове стукнул и потом в воду столкнул. А басню сочинил, будто сама упала. И ничего ему — деньги-то свое сделали.

— Про то не нам с тобой баять. Власти к суду не привлекли, значит, не виновен.

— Так, сказывают, он откупился, проклятый нечестивец!

— Не твоего это бабьего ума дело! — рассердился вконец Анисим Саввич.— Сказано — свадьбе быть, и нечего тут размусоливать! Ты вот лучше ложись в постель и скажись хворой, а я поеду к дочери и привезу ее к больной матери.— Он криво усмехнулся.— А тут и жених со сватами подъедет.

— Да пожалей ты канареечку нашу! Неужели бросишь ее в клюв облезлому ворону?

— Нишкни, несчастная! Делай, как сказал... ну! Ложись скорей! Больно много говорить стала.— Муж не скрывал своей злости.— Ты того не знаешь, что у меня было намерение отправить тебя в Костюжены, в желтый дом[1] Там харчи и одежда казенные. А может, в монастырь желаешь? Еще как Поликарп родился, об этом подумывал, да пожалел тогда. А теперь, вижу, в самый бы раз!

— Да неужто хватит тебя на такое?

— Будешь идти супротив — и глазом не моргну!

Колосов пошел запрягать лошадей. Матрена после этого разговора, глаз не осушая, и в самом деле захворала.

Приезд отца удивил Аннушку: она только недавно вернулась с пасхальных каникул и до окончания гимназии оставалось совсем немного.

— Что случилось, тятенька?— спросила она, когда хозяева, на квартире которых она жила, усадили его пить чай.

— Собирайся, дочка. Чаю выпьем — и в дорогу. Приболела мать, тебя очень видеть хочет.

---

[1] Психиатрическая больница.

— А доктора звали? Что с ней такое?— встревожилась девушка.

— Страшного, я думаю, ничего нет, а все же как бы чего не вышло. За доктором Савелий поехал.

Аннушка стала молча собираться. «Как это на мать непохоже,— подумала она.— Если и случалось ей захворать, она всегда это скрыть старалась, не любила из-за себя кого-то беспокоить. Неужели ей совсем плохо?»

— Ну, готова, дочка? А вздыхаешь что?

— Как не вздыхать, тятенька, у нас экзамены скоро, мне готовиться надо.

— Ладно, потом об этом.

Когда коляска тронулась, Аннушка снова завела разговор.

— Понимаешь, я в общем-то знаю все неплохо, но не мешает и специально позаниматься, повторить все, чтобы на экзаменах быть не хуже других. Да еще и потому это важно, что в университет скоро сдавать. Не забыл ли ты, тятенька, что обещал? Если хорошо гимназию кончу, в Вену со мной поедешь.

— А ты разве не раздумала? Далеконько это от дома, а мне без тебя, ох, как скучно. Да ты вроде и передумала историей-то заниматься.

— Да, тятенька, передумала на исторический поступать, лучше, мне кажется, заняться юридической наукой. Правда, девушкам это не всем интересно, но меня прямо-таки притягивает. Я уже книги кое-какие подобрала, в лавке, что на нашей улице, купила.

— Беда ныне с вами, девками. И куда вы залезть хотите? Нет бы домовничать, мужа богатого выбрать да угождать ему во всем, все вам надо чего-то необычного.

— Чего ж тут необычного? Теперь каждый хочет учиться. А что мы, хуже мужчин? А дома сидеть — тоска смертная.

— А ежели были бы у тебя миллионы, Аннушка, тоже в Вену бы захотела?

— Ты все шутишь,— улыбнулась она.— Что-то не припомню, чтобы у тебя миллионы водились.

Ничего не ответил на это отец, ушел в свои мысли.

Чем ближе подъезжали к дому, тем сильнее волновалась Аннушка. Не терпелось ей мать увидеть, убедиться, что с ней ничего страшного.

...В доме их все ждали. Как подъехали — поднялся

переполох: завизжали собаки, захлопали двери, выглянула в окно кухарка Авдотья. Анисим Саввич усталыми лошадьми занялся, а Аннушка бросилась в дом. Только дверь открыла — столкнулась с матерью.

— Что с вами, маменька? Захворали опять?

— Как тут не захворать, мое золотко,— сказала Матрена вполголоса.— Отец задумал недоброе с тобой сотворить. Я потому и встала, чтобы успеть сказать тебе,— стыда у него, ирода, нет!

С первого слова поняла все Аннушка, вспомнив отцовские намеки на какие-то миллионы.

— Видно, хочет отдать меня в чужой дом?

— Да, сваты скоро будут.— И, прижав к себе дочь, Матрена не сдержалась, запричитала, рыдая. Тут дверь отворилась, и зашел Анисим Саввич.

— Ты зачем с постели встала? Больна, так лежи. Не видишь, как дочку расстроила? — грубо сказал он.

— Что это ты, тятенька, на маменьку напустился? — голос у Аннушки дрожал.— Она ведь хворая, ее поберечь надо.

— Так я о ней и забочусь, пусть лежит, поправляется, нечего ходить туда-сюда.

Через полчаса ужинали в гостиной. Аннушка ждала разговора, но отец не начинал его. Савелий и Поликарп тоже молчали. Поев, стали расходиться. Аннушку отец проводил до светелки. У самой двери она сказала:

— Вижу я, тятенька, не по маменькиной просьбе ты меня привез. Так не дразни, скажи сразу — зачем?

— Не волнуйся, дочка, ложись спать — утро вечера мудренее. Я тоже лягу — устал после дороги... Завтра все узнаешь.— Колосов поцеловал дочь и ушел.

В эту ночь долго не спалось Аннушке. Уже за полночь перевалило, когда она задремала. Вдруг дверь скрипнула, и сна снова как не бывало.

— Кто там? — вскочила она.

— Это я, не бойся,— к ее кровати подошел Поликарп.— Мне нужно поговорить с тобой.

Она села на постели, закутав плечи в одеяло. Брат присел рядом. Аннушка молча погладила его по голове. Поликарп, тронутый лаской, зашептал быстро-быстро, словно боялся, что им вот-вот помешают.

— Говорил я после ужина с матерью. Позавчера был тут у нас вилковский миллионщик Сухоруков. Старик, ему уж за семьдесят, а виды на тебя имеет. Отцу,

хоть и любит он тебя, его карман по нраву пришелся. Сговор уже состоялся, теперь сватов ждут. В доме дым коромыслом, жарят, парят, пекут. Маменька-то от этого и слегла.

— Да, знаю, Поликарпушка. Но тебе не кажется, что все это еще бабушка надвое сказала? Со мной отец еще не говорил. Может, и правда считает дело решенным, а может, еще и передумает, как поймет, что я не смогу за Сухорукова выйти.

Поликарп невесело засмеялся.

— Как же, передумает он. Уж я-то его знаю. Аппетит у него всегда на деньги большой, своего он ни за что не упустит.

— Что же делать? — совсем пригорюнилась Аннушка.

— Да что? Миллионершей стать поскорей. Ну ладно, ладно, не сердись, шучу я.

— Ты вот шутишь, а мне хоть в петлю лезь.

— Потому я и пришел. Если я тебе не помогу — кто поможет? По моим понятиям, выход найти можно. Перехитрим, пожалуй, отца-то.

Горячо и долго обсуждался этот вопрос в Аннушкиной светелке. Решили, что, если отец от своего не отступится, Аннушка сбежит, а брат ей в этом поможет. Бежать лучше всего к тетке Тикусе, в Белокриницкий монастырь.

Уходя, Поликарп сказал:

— Так не забудь: начнут свататься — не соглашайся. Если отец настаивать будет, сделай вид, что покоряешься его воле, иначе запрет в чулан под присмотр Авдотьи и силком повезет к венцу. А сама заранее подготовься в дорогу. Когда момент придет, я тебе знак подам. Лестницу к окну светелки поставлю. Пойду теперь, а ты поспи, а то будешь бледная завтра.

Поликарп поцеловал сестру в мокрые щеки и тихо вышел.

На другой день утром, встав с постели в превосходном настроении, Колосов не спеша оделся по-праздничному, смазал репейным маслом волосы. «Вот теперь и Анне сообщить можно», — решил он. Но не успел он еще и словом перемолвиться с нею, не успела семья

собраться к завтраку, как прибежал работник и сообщил: «Едут!» В окно увидел хозяин: летит к дому тройка, звеня бубенцами, дуги и сбруя украшены разноцветными лентами.

— Это сваты,— Анисим Саввич перекрестился. Он зашел в Аннушкину светелку.

— Ты приоденься, доченька, да понаряднее, сейчас у нас гости важные будут, а я пойду их встречу. Не успели мы с тобой поговорить, да беда не велика, сейчас сама обо всем узнаешь.

Зайдя в дом, гости долго крестились на образа, положили все метания[1] и лишь тогда прошли в гостиную. Там их уже ждали девушки, подружки Аннушки, которых пригласили заранее. По знаку хозяина они запели величальную жениху.

Сухоруков развязал котомку и накинул на каждую по шелковому полушалку. Авдотья от такой щедрости ахнула, а девушки запели еще голосистее.

— Милости прошу, дорогие гостеньки, откушать нашего винца, заморского сладенца,— стал угощать хозяин. Но девушки забрали у него графин с водкой.

Один из сватов догадался, вытащил кулек с пряниками, и каждой досталось по штуке.

— Этого мало, у нас подруга больно хороша,— заартачились девушки.

Тогда жених вытащил из кармана бумажник и всех оделил леями[2]. Девушки развеселились, но графина не отдавали. Сухоруков дал еще денег.

— Хватит вам, нешто мало? — проворчала Авдотья.— Сколько добра на вас переводят.

Наконец все угомонились, хозяин усадил гостей за стол и стал снова потчевать. Однако гости возражать начали.

— Не для того мы сюда ехали, чтобы пить да бражничать, не из голодных краев к вам прибыли.

— Зачем же тогда вы пожаловали? — сделал удивленный вид хозяин.

— Мы люди деловые, торговые, с тем и принимайте. У нас купец,— показали они на Сухорукова,— а у вас, мы слышали, есть товар.

Девушки глянули на «купца» и прыснули со смеху.

---

[1] *Метания* — поклоны по церковному уставу.

[2] *Лей* — денежная единица.

Колосов покосился на них и жестом показал Авдотье, чтобы она их вывела.

— Товар у нас не дешев,— ответил он.

— Нам подойдет. Найдем, чем платить, за этим, любезный хозяин, дело не станет.

— Рановато отдавать-то вроде еще...

— Каждому овощу свое время. Смотрите, кабы не переспела ягодка.

— Так-то оно так, но надо бы спросить самоё. Авдотья, беги-ка за Аннушкой.

Кухарка побежала в светелку.

Вошла Аннушка — и едва на ногах удержалась, увидев под образами старика, похожего на Кащея Бессмертного.

В скромном платье из цветного батиста с кружевами девушка была необыкновенно хороша. Сухоруков жадно посмотрел на нее своими щучьими глазками и зачмокал сухими узкими губами, пытаясь растянуть их в приветливую улыбку.

— Вот, доченька, к нам сваты пожаловали,— заискивающе заговорил отец.— Сергей Левонтьевич удостоил честью руку твою просить...

Аннушка, зардевшись, присела на краешек стула.

— Что же ты мне вчера ничего не сказал, тятенька, а сегодня вдруг такое известие — как обухом по голове? Неужто я надоела тебе, что хочешь отдать меня в чужой дом?

— Что ты, доченька милая! — воскликнул Анисим Саввич.— Вовсе не для того лелеял я тебя, чтобы так рано отдать на чужую сторону. Но поверь, бога ради, о счастье твоем пекусь. Упустить его легко, а я этого не хочу. Спасибо еще отцу скажешь.

— Неужто ты не знаешь, тятенька, *что* меня ждет? Зачем же на постылую жизнь толкаешь? Пожалей, не отдавай меня, не вынесу я жизни в Вилкове..

— Да ты, дочка, будешь так обеспечена, что позабудешь, что такое забота.

— Не нужно мне всего этого, не хочу.

— Я вас, Анна Анисимовна, принуждать любить меня не стану,— вступил в разговор Сухоруков,— жить можно и без любви. Зато я вас любить буду преданно. Я вас в самые дорогие платья одену, каменьями осыплю драгоценными. А вы мне уважение дарить будете — с меня и довольно.

Страшно стало Аннушке. Какой старик противный! Купить ее хочет за свои деньги, и стыда в глазах нет. Слезы из глаз невольно брызнули, и не могла она больше произнести ни слова.

— Невесте день плакать, век радоваться,— заметил кишиневский сват.— Умели вы, Анисим Саввич, поить-кормить красавицу, умейте и снарядить.

— Не извольте беспокоиться,— ответил Колосов,— дочь моя не ослушница. Поплачет, поупрямится, но против моей воли не пойдет. Ну, а если не одумается — я дурь-то из головки ее выколочу.

— Тогда по рукам! — шлепнул сват ладонью в ладонь хозяина. Другой сват тут же над их головами разломал пирог, что означало: сговор закончен.

— Мы слово свое держим,— протягивая руку, ответил Колосов.— Сдержите и вы свое, Сергей Левонтьевич.

— Нотариус тут, бумаги сделаем.

Пуще прежнего заплакала Аннушка, поняла, что судьба ее решена.

— Авдотья, уведи невесту в светелку, пусть успокоится,— приказал отец.— Без плачу у девок ни одно дело не обходится,— заискивающе улыбнулся он сватам.

— Да уж такое дело, что не каждый на него идет смело,— вставил сват и полез за шампанским в корзину, которую гости занесли в дом.— Чего лишнее калякать, давайте свадьбу стряпать.

Захлопали пробками бутылки. Авдотья вместе с молодыми стряпухами забегала, накрывая столы.

— Цыгана Раду со скрипкой зови! — открыв окно, крикнул во двор кому-то раскрасневшийся Колосов и налил шампанского девушкам.

Он пригласил гостей в моленную, и там больше часа составляли бумаги. Хозяин запер заверенные нотариусом бумаги в кованый сундук, и все пошли в гостиную.

Заиграл скрипач Раду, девушки запели величальную. По селу быстро полетела молва, что у Колосовых пируют. Любопытные соседи подходили к дому, заглядывали в окна. Но хозяин в дом никого не позвал: он боялся сплетен. Приказал выкатить на улицу бочонок с вином и угощать всех.

После застолья часть гостей пустилась плясать, другая — отправилась кататься по селу на разукрашенных цветами и лентами тройках.

Раздалось гиканье пьяных голосов, потянулось прон-

зительное «и-и-и!» Разбуженные куничане не понимали, в чем дело.

— Аннушку, Колосову дочку, за вилковского миллионщика выдают,— разнесся слух по селу.

Веселились долго, до вторых петухов, пока сон не свалил гостей и хозяина, где попало: жених оказался под столом, сваты на кухне на лавках, нотариус забрался к молодым стряпухам на печь. Сам Анисим Саввич маялся на сундуке в моленной.

Как приехали сваты, Поликарп зорко следил за всем, что делается в доме. Лишь только Аннушка зашла в светелку,— и он здесь оказался, вскарабкался по лестнице, которую ночью приставил к окну, выйдя в сад. Заторопил в дорогу.

Перед уходом проверил, хорошо ли закрыта дверь. Набросил на трясущуюся сестру куничью накидку и взял в руки ее небольшой саквояж. Аннушка первой спустилась по лестнице вниз. Потом они задами пробрались на дорогу. Молодой месяц спрятался за холмы, и было совсем темно.

— Трусиха я, Поликарпушка, руки-ноги дрожат. А что, если они нас хватятся и в погоню?

— Откуда им знать, куда мы девались? — Однако Поликарп свернул с наезженной дороги на пешеходную тропу и стал время от времени прислушиваться к доносившимся со стороны деревни голосам.

Аннушка плакала. Еще не до конца осознала она всю важность своего шага, но какие-то неясные предчувствия больших перемен обуревали ее. Будущее ее пугало. Об университете теперь и мечтать нечего, а что впереди — неизвестно. Поликарп, держа ее за руку, успокаивал, как мог, подбодрял. Но у Аннушки все перемешивалось в разгоряченном мозгу: и приезд в Куничу, и болезнь матери, и нелепое сватовство.

На станции народу оказалось немного: при тусклом свете керосинового фонаря дремали на лавках крестьяне да у окна стояли румынские солдаты, потягивая что-то из своих фляжек.

Брат не поскупился, купил билет в первый класс.

— Здесь немного, но на первое время тебе хватит. Это все, что у меня есть.— Он дал ей кошелек.

— Спасибо, Поликарпушка, спасибо за все, — и она снова расплакалась.

— Кто тебя обидел? — спросил подошедший сол-

дат. — Вот это горбун? Так мы его бросим под поезд!

— Не трогайте его, этой мой брат,— заслонила Аннушка Поликарпа.

— А она мила, ребята, поглядите-ка! — вскричал солдат и схватил девушку за руку. Она увидела, что он пьян, и стала лихорадочно осматриваться. Глаза ее остановились на военном, который сидел возле буфетной стойки.

— Господин офицер, помогите! — громко обратилась она к нему.

Военный быстро встал, приблизился и, сверкнув глазами, замахнулся. Солдат тут же ретировался.

— Не волнуйтесь, я его знаю, и он понесет суровую кару,— сказал офицер Аннушке, прикладываясь к ее руке.— А что вы делаете здесь в такой поздний час?

— Еду погостить к тетушке. Мы с братом не знали, когда поезд придет, и теперь вот приходится ждать.

— У вас первый класс?

Она кивнула.

— Тогда мы попутчики. Не желаете ли составить мне компанию и выпить немного вина? А шампанского? Эй, человек!

— Нет, нет, ради бога! Благодарю вас, но нам нужно еще поговорить.

Офицер поклонился и отошел.

Через полтора часа станционный колокол возвестил о прибытии поезда.

Все вышли на перрон, и Аннушка стала прощаться с Поликарпом. Сердце ее сжалось. Еще несколько минут, и она одна, совсем одна поедет... А что дальше? Неизвестность ее пугала.

— Если что, ты знаешь, где я... За маменькой присмотри, Поликарпушка, не дай в обиду. Из-за меня на нее все шишки теперь повалятся.

— Да ты не беспокойся, я, в случае чего, все на себя возьму.

Аннушка и офицер оказались в одном купе.

— Аурелиу Попеску, капитан, слуга его величества короля Румынии,— представился он.— Служил в Добрудже, а теперь вот перебрасывают на Буковину.

— Анна Колосова,— девушка слегка поклонилась. «Не везет мне,— пронеслось у ее в голове.— Одной побыть, видно, не удастся».

— Не хотите ли рюмочку коньяка? — открывая фляжку, спросил капитан.

— Я не пью.

— Что же делать, придется одному.— Капитан выпил полный стакан и придвинулся ближе к Аннушке. Теперь она хорошо видела на его лице толстый слой румян и пудры. Вспомнила, что где-то читала о том, что румынские офицеры «штукатурят» свое лицо, как иные престарелые барышни. Ей стало на минуту смешно. Увидев ее улыбку, капитан тоже улыбнулся. Он подумал что, вероятно, его общество приятно этой хорошенькой гимназистке.

«А не закрутить ли мне роман? — мелькнула у него мысль.— Быть наедине с такой красоткой и не воспользоваться этим — просто преступление».

— А все же давайте выпьем вместе! За любовь и милых девушек, таких, как вы,— предложил он.— А то так скучно ехать...

— Нет, я же сказала вам, что не пью. Я вообще не выношу вина.

— А если я вам признаюсь, что вы меня очаровали, вы вынесете это?

— Это господин офицер, пустые слова, вы их сказали от скуки.

— Вы уверены? А вот и ошиблись, я действительно нахожу вас очаровательной и чувствую, что мое сердце колотится в три раза быстрее, чем до того, как мы сели в поезд. Вы признаете любовь с первого взгляда?— И он обнял Аннушку одной рукой. Она резко встала. Попеску тоже поднялся и снова обнял ее. Аннушка сбросила его руку и неожиданно для себя ударила капитана по щеке.

Такого поворота капитан не ожидал.

— Ах, так! — сказал он медленно, с угрозой в голосе. Его глаза налились кровью, и губы скривились в злобной усмешке.— А вы неблагодарная! Нашли чем отплатить за мою услугу! Ну так теперь не воображайте, что я буду с вами церемониться.

Он быстро запер дверь, обернулся к Аннушке и нагло уставился на нее. Девушка смотрела на него широко открытыми глазами и не знала, как поступить,— то ли кричать, то ли постучать в соседнее купе. А вдруг рядом никого нет? В этот момент раздался громкий стук. Попеску открыл дверь. За нею стоял проводник.

— Какого черта?

— Черновицы близко, господин капитан. Получите ваш билет.

Аннушка облегченно вздохнула.

— Испортили вы мне путешествие, барышня, — сказал ей Попеску, снимая чемоданы с верхней полки.

* *

На рассвете поезд заскрипел тормозами на небольшой станции Ваду-луй-Сирет. Здесь по долине реки проходила граница между северной и южной Буковиной. Обе они до 1918 года принадлежали Австро-Венгрии, но после распада «лоскутной империи» северная Буковина, этот лакомый кусок, досталась румынскому королю. Аннушка вспомнила, что они учили в гимназии, будто это исконные румынские земли и будто в 1918 году наконец-то восторжествовала справедливость. Однако над этой «справедливостью» посмеивались даже сами румыны. Все знали, что королевские войска были введены сюда вопреки воле народа и что эти земли с давних времен принадлежали славянам.

Аннушка легко спрыгнула с подножки вагона, пересекла несколько железнодорожных путей и вышла на знакомую ей с детства дорогу. Она поднялась на пригорок и залюбовалась открывшейся панорамой. Вдали виднелись белоснежные вершины Карпатских гор, а прямо перед ней лежала живописная долина голубого Сирета. Ее со всех сторон обступили зеленые холмы, окутанные легкой утренней дымкой.

Продолжив путь, она увидела в низине справа село Каменку, а слева, на взгорье, — село Волчинец. Ей там нечего делать. Дальше она прошла мимо села Климауцы. Вот там можно было бы остановиться: родственница тетки Тикусы жила в этом селе и могла бы ее приютить. Но Аннушка видела ее лишь однажды, когда она приезжала в Белокриницкий монастырь, и не посмела бы зайти к ней, даже если бы знала, в каком она доме живет. Село было староверское. Аннушке были видны с дороги луковица беспоповской часовни[1] и

---

[1] У беспоповцев служба ведется без попа, поэтому нет алтарей. Небольшая церковь без алтаря, с иконами называется часовней.

церкви белокриницкого согласия[1], которые были построены даже раньше церквей в Белой Кринице. Раздался звон колокольчиков. Оглянувшись, девушка увидела легкий экипаж. Уж не тятенькина ли погоня? Она отошла в сторону. Притаилась за придорожным кустом. Нет, не тятенька. На козлах сидел монах, а сзади на мягких подушках — святые отцы в камилавках[2]. Она зашагала снова.

Вот, наконец, и Белая Криница показалась, осталось идти не более двух верст. Вначале стал виден зубчатый силуэт множества церквей, которые то прячутся, то снова возникают при подъеме дороги. По мере приближения к селу, будто из-под земли, вырос огромный пятиглавый собор с высокой шатровой колокольней. Он словно парил в воздухе, задевая яркими золотыми крестами за облака. Таков, видимо, и был замысел архитектора: чтобы его голубые изразцовые стены, сливаясь с небом, ошеломляли идущих по утрам с востока богомольцев своими висящими в воздухе куполами. Аннушку поражал необыкновенно яркий парад красок этого собора. Мастеру, как видно, полюбилась поливная разноцветная черепица, и он яркими узорами разбросал ее по восьмигранному шатру[3] колокольни. Хоть это и чужая земля была, но древнерусское искусство проявилось здесь с необыкновенной силой. Ей даже показалось, что Белокриницкий собор чем-то напоминает московский храм Василия Блаженного, неоднократно виденный ею на цветных литографиях.

По замыслу заносчивого белокриницкого духовенства собор этот должен был подчеркивать величие и значимость митрополии. Во времена его строительства оно мечтало о резиденции, не уступающей по пышности Ватикану. Однако первая мировая война помешала сбыться этим планам.

Слышала Аннушка от кого-то, что во время этой войны русские войска были встречены в Белой Кринице с необыкновенной радостью и звоном колоколов отмечал их приход женский монастырь. И тогда австрий-

---

[1] К белокриницкому согласию, относились старообрядцы, признавшие митрополию в Белой Кринице.

[2] *Камилавка* — высокий цилиндрический, с расширением кверху головной убор как почетная награда православных священников.

[3] Шатровое покрытие, главным образом храмов, бывает четырех-, шести- и восьмигранное.

цы надумали собор взорвать. Но не решились погубить эту красоту, а лишь сняли самый большой колокол и увезли его в Вену.

«Сам бог повелел мне искать здесь спасение от тятенькиных сватов,— думала Аннушка, любуясь сказочным видом Белой Криницы.— Поживу пока среди этих райских кущей, а там видно будет». А у самой на душе была горечь: тяжело расстаться с мечтами, с родным домом. А вдруг это навеки?

С трепетным сердцем вошла она в Белую Криницу. Главная улица, петляя среди деревенских домиков, повела ее к монастырям. Вспомнилась ей история Белой Криницы. Рассказывали, что старообрядцы, живущие в устье Дуная, в Добрудже, спасли от разбойников одного австрийского чиновника[1] В благодарность он обещал исполнить любую просьбу своих спасителей. Воспользовавшись счастливым случаем, старообрядцы высказали свое заветное желание о «свободном в австрийских пределах пребывании и совершенной вольности» для своего духовенства.

Вскоре разрешение на то было получено от самого австрийского императора Иосифа II, и старообрядцы под предводительством своего старейшины Иллариона Петрова, по прозвищу Коровьи ножки, облюбовали себе для поселения место, расположенное в обширной долине среди предгорий Карпат. Место это привлекало их в первую очередь тем, что здесь был источник с белой (известковой) водой. У староверов тех времен было распространено предание «о праведной стране Беловодье», где все могут жить в равенстве и счастье. Они надеялись, что в этих местах с чудесным белым источником может со временем быть такая страна. Так и возникло здесь село, названное по источнику «Фонтина Альба», или, на местном наречии, «Белая Криница».

Одновременно с селом вырос тут мужской монастырь. Основателем его считали игумена дунайского островного монастыря Симона.

---

[1] По другой версии, спасенный был родственником австрийского императора Иосифа II. Его корабль потерпел крушение в Черном море, и он уже погибал, когда подоспели на помощь староверы. Версия о разрешении императора на жительство подтверждена документом от 9 октября 1783 года, по которому старообрядцы могли переселиться на Буковину и свободно отправлять религиозные действия, освобождались от податей и воинской службы.

Долго село это и сам монастырь были почти никому не известны. Здешние староверы жили тихо, не обращая на себя внимания местных властей. Существовали за счет больших фруктовых садов. В село принимали бежавших из России крепостных крестьян, и оно скоро разрослось.

Аннушка поравнялась с монастырской оградой и увидела огромный каменный крест среди вековых деревьев. Это была могила Павла Белокриницкого, основателя митрополии. Это он, проявив кипучую энергию и завидные дипломатические способности, добился от австрийского двора разрешения на создание в Белой Кринице духовного центра русского старообрядчества. Он же привез из Константинополя безвестного до того времени первого митрополита Амвросия, после которого остались роскошные митрополичьи палаты и кафедральный собор на территории мужского монастыря.

Миновав две небольшие сельские церквушки, Аннушка оказалась перед голубой изразцовой оградой, которая опоясывала женскую обитель и кафедральный собор. В четырех углах ее стояли красивые сторожевые башенки, из которых, говорили, соборные матушки[1] следили за монахинями, чтобы они не покидали территории монастыря.

Заговорили колокола на белокриницких церквах, сообщая о конце обедни[2] по случаю Вознесения. То густой, басовитый, то нежный, переливчатый перезвон их разносился по всей округе. Аннушка подумала, что по случаю такого праздника тетка должна быть еще в соборе, и повернула к его входу.

Пройдя через массивные кованые ворота, она оказалась на гранитных ступенях паперти[3]. Сотворила перед дверьми семипоклонный начал[4] и только после этого вошла в храм.

В соборе после только что закончившейся службы догорали уже последние свечи и подымалось к куполу

---

[1] *Соборная матушка, или старица,* — почетная престарелая монахиня.

[2] *Обедня* — утренняя церковная служба.

[3] *Паперть* — крыльцо перед входом в церковь.

[4] *Семипоклонный начал* — семь поклонов по церковному уставу.

синеватое облачко ладана[1], пронизанное лучами солнца. На девушку никто не обратил внимания, и она прошла в правый придел[2].

Хмуро глядели на нее развешанные по белым стенам темные лики святых, строго взирал из-за резого иконостаса[3] бог Саваоф. Показалось ей, что Николай Угодник спокойно смотрит прямо на нее, словно ждет от нее чего-то, и смотрит по-доброму, словно бы благословляя ее поднятой в крестном знамении рукой. Она невольно обратилась к нему с заученной с детства молитвой. Но дочитать до конца молитву не смогла и в безутешных рыданиях распростерлась на холодных плитах.

— Что с вами, дитя мое? — услышала она рядом чей-то голос.— Успокойтесь, милая, господь никого не оставит своей милостью. Скажите, кто вы и откуда?

Аннушка подняла голову и увидела подле себя уставщицу[4] монастыря матушку Поликсению. Та тоже узнала ее и очень удивилась.

— Ах ты, господи, а Тикусочка ничего и не знает. Касьяния! — крикнула она своей родной сестре — казначейше[5].— Беги скорей в ризницу[6] и позови Тикусочку. Тут к ней сродственница пожаловала.

Вскоре, шурша апостольником[7], пришла матушка Тикуса, экономка монастыря. Увидев плачущую Аннушку, бросилась к ней, ласково заворковала:

— Что случилось, маков цвет? Уж не обидел ли тебя кто? Или дома беда какая? Живы ли, здоровы ли все? Ну не плачь, родная, не плачь, сказывай мне все поскорей.

Аннушка в ответ уж совсем разрыдалась. Подняла Тикуса ее с пола и, поддерживая за руки, повела из церкви. Матушки Поликсения и Касьяния недоуменно пожали плечами и побежали доложить о гостье игуменье.

---

[1] *Ладан* — ароматическая смола для окуривания храма при богослужении.

[2] *Придел* — часть храма со своим алтарем.

[3] *Иконостас* — увешанная иконами стена, отделяющая алтарь от остальной части церкви.

[4] *Уставщица* — старая певчая, одновременно следящая за соблюдением монастырского устава.

[5] *Казначейша* — монахиня, ведающая монастырской казной.

[6] *Ризница* — помещение для хранения культовой одежды.

[7] *Апостольник* — передник, которым монахини прикрывают грудь и шею.

По дороге Аннушка успокоилась, вытерла слезы, обняла тетку и сказала ей:

— Я к тебе, Тикусочка, нельзя мне пока быть дома.

— Это доброе дело! — обрадовалась тетка.— Погости у меня, отдохни. Я всегда рада гостям, а тебе, голубь мой, особенно.

Они вошли в небольшой, прильнувший к старинной деревянной церквушке двухэтажный домик, где жила Тикуса. Аннушке нравилась эта зимняя церквушка: квадратная башня ее стремительно подымалась вверх и заканчивалась небольшой золоченой луковкой. Высокая двускатная крыша была на уровне светелки, в которой девушка живала прежде, когда гостила здесь с матерью. Темные стены из дубовых бревен и мох, которым поросла крыша, придавали церковке таинственный вид.

По преданию, начало женскому монастырю положила строгая схимница[1] Варвара, которая после ликвидации заволжских скитов бежала в землю австрийскую, захватив с собой лишь особо почитаемую старообрядцами икону Казанской божьей матери. Она сумела пересечь границу и появилась в Белой Кринице. Икону повесили в соборе. Но наутро ее там не оказалось. К вечеру монахи нашли ее, будто бы случайно, на склоне оврага в глухом лесу. Отнесли икону в собор, а на другое утро опять в лесу обнаружили. И придумали тогда на берегу оврага построить вот эту церковку, в которой и повесили икону, а рядом поселилась Варвара. Потом здесь поселились и другие схимницы. Так возникла женская обитель.

В обители сохранялись те же твердые порядки, что соблюдались в заволжских скитах. За благолепие и порядок женская обитель почиталась всеми староверами, а в прежние времена жертвовали ей от своих капиталов те, что побогаче, в основном купцы.

Тикуса накрыла на стол. За чаем она все выспросила, и племянница, ничего не скрывая, рассказала ей о своих злоключениях. Стали они думать, как быть.

— Так вот почему тебе нельзя быть дома... Ах, Аннушка, Аннушка, милое мое сокровище! — Тикуса не скрывала своей тревоги.— Ты не бойся, я в обиду тебя не дам. Конечно, Анисим рано или поздно сюда нагря-

---

[1] *Схимница* — монахиня, давшая обет выполнять правила более строгие, чем у других монахинь, вести затворнический образ жизни.

нет. Если дознается, что ты у меня, может истребовать тебя через суд. Но мы должны что-то придумать.

— Лучше жизни лишиться, чем волю его исполнить! — с отчаянием воскликнула девушка..

— Ну, ну, милая, такое и говорить грех. Ты вот что, пойди отдохни покудова в свою светелочку. Я же должна помолиться о судьбе твоей. Не может быть того, чтобы мы что-то с тобой не придумали.

Удалившись в моленную, матушка Тикуса пала перед образами. Вся горечь давних лет вдруг снова ей наполнила сердце. Нахлынули на нее воспоминания о далеких днях, о горячей ее любви, от которой вот уже тридцать лет она в обители укрывается. Когда была молода, полюбила она добра молодца. Полюбила всем сердцем, да на беду свою. И был тот человек Анисим — отец Аннушки. Но родители противились их союзу. И мечтали молодые бежать из дома и обвенчаться в первой же попавшейся церкви. Да замысел их, видно, разгадали и увезли ее в монастырь к тетке. Но и отсюда готова была бежать молодая белица[1] хоть на край света. Однако Анисим смалодушничал и позволил обвенчать себя с ее старшей сестрой, к которой и душа-то у него не лежала. Сколько слез пролила она тогда, сколько бессонных ночей ей выпало! Не от желания вечно служить господу богу, не от веры безмерной постриглась она тогда в монахини, а от безысходной тоски и отчаяния. Анисим-то вскорости спохватился, да поздно было. Первое время нередко наезжал в монастырь, тревожил ее сердце. Сколько раз, бывало, бегала она к нему на монастырскую пустошь. Потом не вытерпела, покаялась на исповеди в своих прегрешениях, и стало о том известно самому владыке. Строго-настрого запретил он Анисиму появляться в Белой Кринице, а на нее наложили епитимью[2] суровую. С тех пор лет двадцать не виделись.

Знала Тикуса, что не сладко жилось и ее сестре Матрене. Злобой, побоями платил ей Анисим за утерянное свое счастье. Через много лет успокоился, перестал ее трогать, стала она для него все равно что пустое место. В дочери же, знала Тикуса, он души не чаял. Почему

[1] *Белица* — послушница, готовящаяся стать монахиней.
[2] *Епитимья* — монастырское наказание в форме поста и земных поклонов.

же теперь по собственному своенравию и ее жизнь загубить хочет? Разве вынесет нежное дитя такую беду? Мало ль случаев, когда такие свадьбы к поминкам приводят! Уж на что добрыми и обходительными были в миру московские купцы Ольга Алексеевна и Глеб Степанович Овсянниковы, а ведь загубили своим неразумным упорством единственного сына. Был их Сашенька тоже добрый да разумный. Но полюбил он девушку простую, да к тому же щепотницу[1] Ради любимого невеста была на все готова, даже веру сменить. Так нет, заупрямились его родители, отцу той девушки дали большие деньги и велели уезжать, чтобы и следов их никто найти не мог. Для сына же тем временем стали сватать они дочь миллионщика. А Сашенька-то, как понял все, пустил себе пулю в лоб. Вот тебе и родительская забота! Сколько молебнов потом отслужили Овсянниковы, чтобы замолить грехи, сколько денег нищим раздали, сколько церковных вкладов сделали... А сына не вернешь! И миллионы, что они за жизнь скопили, остались без наследника. Вот и решили они тогда в память о загубленном юноше построить в Белой Кринице храм величественный. Пятьсот тысяч золотом пожертвовали. А сколько пошло на внутреннее убранство, иконостас, церковное облачение... Строили храм лучшие русские мастера, а руководил ими известный архитектор австрийского двора Клик. За работу пришлось уплатить немало, но, как видно, не суждено было стоять собору, возведенному во искупление греха тяжкого. Только собрались расписать его стены, как началась война с германцами. Так и остались неиспользованными эскизы известных русских художников. Говорят, сам Васнецов готовился к его росписи.

Долго стояла на коленях монахиня.

— О господи, научи, что мне делать? Помоги и осени рабу твою. Мыслимое ли дело отдать невинную душу на растерзание старику-негоднику? Не лучше ли принять в таком случае пострижение?

Снова и снова, походив по комнатам, поглядев на уснувшую крепким, с дороги, сном Аннушку, Тикуса падала на колени у киота.

---

[1] *Щепотник* — так пренебрежительно старообрядцы называли принявших никоновскую реформу за то, что они крестились тремя пальцами.

— Просвяти меня, царица небесная, наставь на путь истинный!

На другой день, так ничего и не решив, пошла Тикуса доложить о случившемся настоятельнице монастыря матушке Аркадии. Испокон веков монастырский устав запрещает держать в обители посторонних людей без специального на то разрешения настоятельницы. А тут такое дело, что без спроса и вовсе неможно. Сестрицы-то ее, поди, давно уж наплели невесть что о приходе племянницы.

С глазу на глаз хотела поговорить с игуменьей Аркадией экономка монастыря, но при ней, как всегда, сидели ее родные сестры — строгая и сумрачная уставщица матушка Поликсения, известная своей скаредностью казначейша матушка Касьяния, а также двоюродная сестра, фанатичная в делах веры матушка Феофания. В их руках почти вся монастырская власть. Как что решат на семейном совете, так оно и бывает. Первую скрипку играет, конечно, матушка Поликсения. Это главная канонница: делай у ней все по правилам, все по-писаному. Сама шагу не шагнет, чтобы не оправдать его, и от других того требует. А последние годы игуменья и вовсе плясала под ее дудку. Стара, видно, стала. Раньше хоть для видимости звали экономку на монастырский совет, а теперь вовсе без нее обходятся. А ведь все хозяйство на Тикусе. Эти матушки, кроме молитв да сплетен, ничего не знают, на склоки и наговоры большие мастерицы. Коли что не по ним, все косточки перемоют. В молодости Тикуса из-за них то и дело слезы лила, а теперь их разговоры в одно ухо влетают, а в другое вылетают. А чтоб знать их замыслы, есть у Тикусы и среди их окружения верный человек, который обо всем ей сообщает. Вот и сегодня ей донесли: игуменья больно гневается, что племянница без доклада принята была.

Войдя к настоятельнице, экономка не без умысла дольше обычного молилась на образа: пусть остынет малость гнев повелительницы. Затем поклонилась ей в ножки и, поцеловав руку, справилась о здоровье. Сотворила метания и сидевшим возле нее матушкам.

Не успела рот открыть, как игуменья стала ее отчитывать.

— Нешто так можно, милая, человек пришлый в обители, а ты помалкиваешь? Или монастырского уста-

ва не знаешь? Тебе ли не знать, что пришлый человек завсегда с собой если не несчастье, так хлопоты несет. С добром к нам редко приходят...

— Прости, матушка, Христа ради, виновата...— смиренно начала Тикуса.

— Сама знаю, что виновата,— перебила ее Аркадия.— Ты мне лучше скажи, почему я о новости из других уст узнаю?

— Прости, матушка, в молитвах я пребывала, господа нашего Исуса Христа просила наставить меня.

— Ты думаешь, что если твоя племянница заявилась, так и докладывать мне не надо? Вот наложу епитимью, не погляжу, что ты экономка.

— И по грехам будет, матушка, по грехам, все выполню, как скажешь. Не оставь только, прошу, советом своим. Не знаю, как быть с несчастной. Убегла она, благодетельница, можно сказать, от венца.

— Вот видишь, а я что говорила? Вспомни-ка устав монастырский: «Буде же кто из таковых случится обязанный женою и без согласного позволения оной пришел на жительство в монастырь, таковой, хотя бы он известный, честного и трезвого поведения, отпускается с миром восвояси».

— Так ведь, если не укроем, загубим голубку тогда...

— Ладно уж, рассказывай, что случилось-то в Куниче.

— С чего и начинать, сердешная, не знаю. Анисим-то Саввич чего надумал — выдать ее за вилковского лабазника Сухорукова. На миллионы польстился. Жених-то не токмо в отцы, в деды ей годится.

— Что ж в том плохого, что стар? Разве не бывает, что богатый старец облагодетельствует сиротку? Разве забыла, Тикусочка, что и пресвятая богородица была отдана в жены старцу Иосифу?

— Как не помнить, матушка, помню! — воскликнула Тикуса.— Да только Иосиф был святым человеком, а старый Сухоруков бога не боится, сладострастник. Он, греховник, жену свою утопил в Дунае, чтоб ему молоденькая досталась.

— Бог ему судья,— перекрестилась матушка Аркадия.— Однако же не судили власти, значит, не признали виновным.

— Так ведь он откупился, окаянный, а по нему каторга давно плачет! И теперь племянненка моя, невинное создание божие, должна идти на муки к этому

сатанинскому отродью, к этому разбойнику,— запричитала Тикуса.— А мы, святые сестры, невесты Христовы, не спасем ее от поругания? Ведь явится сюда отец и заберет ее...

— Как ни поверни, выход один лишь вижу — постричь в монахини,— ответила бесстрастно игуменья.— Однако не могу я на то решиться без благословения владыки. Ступай, падай в ноги митрополиту Пафнутию. Без его воли и дня в монастыре держать не станем.

С поникшей головой вышла от настоятельницы Тикуса. «Не смягчилось ее очерствевшее сердце даже при виде такого несчастья,— подумала она.— Все-таки нашла время, когда меня укусить побольнее. Не захотела сама дать позволение на постриг, ишь ты, куда меня послала. Ну да и я не останусь в долгу. Запомню я, матушка, этот урок! Что же делать теперь. Больно не хочется идти к владыке. Грозен бывает высокопреосвященный Пафнутий. Неровен час, попадешь, когда он не в духе. Выхода другого, однако, нет — придется пойти. Будь что будет».

* *

На удивление Тикусе митрополит Пафнутий пребывал в прекрасном расположении духа. Слушал внимательно, не перебивал. Красное, отекшее лицо его все время оставалось спокойным. Лишь глубоко посаженные темные глаза смотрели по привычке строго. Последнее время владыка стал сильно пить и с похмелья бывал сердит. Сегодня, как видно, уже приложился к чарочке и потому не раздражался, не выходил из себя.

Закончив рассказ, матушка Тикуса упала владыке в ноги и стала просить помощи и совета.

— Вставай, Тикусочка,— ласково вымолвил он,— давай не спеша все обсудим. Горю твоему мы поможем. Негоже нам твою племянницу отдать в неволю к старому грешнику. Коли согласится — пусть принимает монашество. Одним махом три дела сделаем: спасем невинную агницу, приобретем грамотейку и накажем Сухорукова. Старик-то с тех пор, как я его посрамил однажды за непотребные в торговле дела, перестал слать в митрополию деньги. Хоть он и вышел сухим из воды, но если теперь не успокоится, пригрозим ему отлучением за убийство жены. А матушке Аркадии передай, что я повелел немедля провести пострижение. И

непременно священноинока Геронтия позовешь, он горазд на такие дела. А меня на трапезу пригласишь.

— А если не согласится дитя облачиться в мантию?[1] — боязливо спросила Тикуса.

— Неволить не станем, Тикусочка, тогда за отцом остается право забрать ее отсюда. Ничего не поделаешь,— развел он руками.— Но ты все же увещевай племянницу. Нам грамотейки нужны. Со временем — кто знает? — тебя заменит, а может, и в игуменьи выйдет. От Аркадии какой уж прок? В соборные матушки ей пора. Уразумела ли, Тикусочка?

— Уразумела, владыка святый, все уразумела.

Даже не по себе стало Тикусе. Намекнув ей о возможном возвышении племянницы, митрополит словно угадал то, что еще и мыслями ее не успело стать, а лишь смутно чувствовалось как желанное.

— Смекаешь теперь, как все повернуться может? Коли так свершится, и старость у тебя будет счастливее, и для нашего дела хорошо. Ну, ступай с богом!

— Премудростям вашим, владыка святый, конца нету!

От митрополита Тикуса в светелку к Аннушке бросилась. Сама лицом так и светилась.

— Милая ты моя, я с радостью к тебе превеликою. Обласкана ты самим митрополитом Пафнутием.

— Что же он сказал?

— Соизволил ангельский чин[2] тебе предложить. Говорит, бог даст, со временем даже настоятельницей монастыря можешь стать. Грамотейка ты — вот и расщедрился.

Как услышала Аннушка, так и поплыло все у нее перед глазами. Пока тетка заметила, что ей плохо, она на полу лежала. А пришла в себя — заломила руки и волю слезам дала. «Что ж, слезы горе вымывают,— подумала Тикуса и стала ее успокаивать.— Выплачется — легче станет».

Плакала Аннушка долго и безутешно. Тетка в сторонке сидела и лишь искоса поглядывала — не надумала бы только чего плохого вытворить.

— Неужто для меня это единственный выход, Тикусочка?

---

[1] *Мантия* — вид черной накидки, плаща у монахинь.
[2] *Ангельский чин* — монашеское звание.

— Выходит так, маков цвет... Предначертание судьбы.

— Злое предначертание! Злая судьба! Тикусочка, ну скажи, скажи, почему всю жизнь должна я прожить, а счастья не видать? — рыдала девушка.

— Что делать-то, милая? Отец вдруг нагрянет, поздно будет, горю уж не поможешь. Да не сокрушайся ты так. Знаю, тяжело тебе попервоначалу будет, а надо себя побороть. И обретешь ты тогда спокойствие, как я его обрела когда-то.

— Разве об этом я думала, об этом мечтала?

— Со мной тебе, маков цвет, здесь будет неплохо. Час в обители — все равно что сто мирских годов. И пойдет у нас с тобой жизнь без вздыханий и горестей...

— Как же решиться мне на такое?

— Нелегко решиться, Аннушка, а надобно. Не знаешь ты, что, кто возжелает всем сердцем оставить сей многострадальный мир и пойдет в благоутешное пристанище, тот сможет проложить себе стезю к спасению. И откладывать нельзя, сейчас решить нужно.

— Как же жить тут век в заточении, Тикусочка? Не смогу я, погибну от тоски, от скуки монастырской.

— Помни всегда, что жизнь наша на земле лишь временное пристанище. Коротка она, голубка ты моя. А опосля нее каждый получит, что ему уготовано, то ли геенну огненную, то ли райские кущи.

Замолчала Аннушка. Сердце вот-вот разорвется. Пугает ее монашество. Не хочется ей заточения, не хочется смолоду жизнь свою губить. А не остаться в монастыре — куда пойдешь? В прислуги или на улицу? Безработных по городам вон сколько слоняется.

Из двух зол выбирай наименьшее. Дала согласие Аннушка, а сама словно в тумане была. И охватило ее глубокое отчаяние...

— Смирись, маков цвет,— обняла ее тетка.— Вот увидишь, воздастся тебе спокойствием и радостью за твои страдания, не обидит тебя господь. Я о тебе всегда заботиться буду, а в старости ты мне утешением станешь. Вдвоем-то нам лучше, веселее будет.

— Да уж какое веселье,— махнула рукой Аннушка.

— Коли решилась, маков цвет, тянуть с постригом не станем, а то ненароком отец заявится, весь монастырь перебудоражит. Побегу, распоряжусь тогда да игуменье доложусь.

Аннушка осталась одна, устремив невидящий взгляд в окно. Словно окаменела она от свалившейся вдруг беды. И просидела так до тех пор, пока не пришли за ней, чтобы отвести в церковь.

Тикуса же первым делом наказала ключнице закрыть монастырские ворота на замок и в обитель никого не впускать. Потом прошла к матушке Аркадии и не без гордости доложила о воле высокопреосвященного митрополита Пафнутия и согласии своей племянницы на пострижение.

— Где прикажете, благодетельница? — спросила Тикуса.

— Где же еще, в зимней церкви. Иль, может, владыка собор заказал? То-то же, по Сеньке и шапка будет. В соборе лишь священноинока Геронтия постригали. Не нам чета, сын московского миллионщика. Да глядите у меня, чтоб все было, как положено по уставу. Ты, Феофания, предупреди отца Геронтия, ты, Поликсеньюшка, проследи за канонами, а ты, Тикуса, побеспокойся о трапезе. Приготовь три-четыре яствы горячих да пять-шесть холодных, на заедки чего-нибудь лакомого. Шампании бутылочки три, коньячок для владыки, чай, не каждый день постригаем. А сестрам и трудницам[1] можно и помене, а то от обильной пищи и хмельного по ночам бес в тело просится.

— Все сделаю, благодетельница, как приказываешь,— поклонилась Тикуса.

— Знаю, знаю, что сделаешь, ведь не чужую ведешь на постриг, замену себе готовишь...

Тикуса покраснела только, но ничего не ответила и тихо вышла за дверь.

— Как изволите приказать, матушка Аркадия, службу-то править? С полиелеем или рядовую?[2] — спросила Поликсения для порядка.

— Как лучше-то? — задумалась настоятельница.

— И так и этак можно. Раньше на знатность и достатки смотрели. Когда сестру Агнию постригали, с полиелеем было...

— Так то сестру Агнию. Она к нам с какими капи-

---

[1] *Трудницы* — работающие на монастырь по обету бесплатно.

[2] При службе с *полиелеем* помазание елеем — священным маслом совершается сразу несколькими священниками, а *рядовая* служба — обычное пострижение, без особого почета для постригаемого.

талами-то пришла! А эта, поди, на босу ногу в монастырь пожаловала.

— Угадала, милая, угадала! — хихикнула Поликсения.— Сама видела — с небольшим саквояжем в руках. Там, небось, пара одежек, да и только. Какие уж тут капиталы!

— Тогда пусть рядовая будет.

В тот же день после захода солнца в женской обители послышались резкие звуки деревянного била[1]. Такие удары обычно были для сестер сигналом к началу молитвы, или трапезы, или какой-то службы. Все уже знали, что вечером в зимнем храме состоится пострижение во ангельский чин Тикусиной племянницы. Сестры высыпали из своих келий и поспешили в церковь.

Вскоре из распахнутых настежь дверей понеслось церковное пение. В окружении соборных матушек важно прошествовала в церковь настоятельница Аркадия и заняла свое игуменское место. За ней — уставщица Поликсения, казначейша Касьяния и матушка Феофания. Головы их были склоненными, но глаза зорко за всем наблюдали. Хор пел тихо, вполголоса. Игуменья осмотрела собравшихся, ударила в кандию[2], и все обернулись к дверям. У входа засуетились, и матушка Тикуса ввела заплаканную племянницу. Аннушка была очень бледна от пережитых волнений. Сестры, кто с завистью, кто любуясь, разглядывали ее худенькую фигурку, прекрасное тонкое лицо. Все заметили подавленное состояние девушки. Прикушенные губы у ней дрожали, а на глаза то и дело набегали слезы. Время от времени она шептала запекшимися губами: «Боже милостливый, спаси мя, грешную...»

В церкви все уже было готово к обряду. Она сверкала огнями свеч, освещавшими до самого потолка резной иконостас, покрытый позолотой. Перед потемневшими ликами святых старинного письма новгородской и владимирской школ горели разноцветные лампады. Ярко светило бронзовое паникадило[3], синеватый дым ладана застилал лица чинно стоящих сестер. На них были длинные мантии и низко, по самые глаза,

---

[1] *Деревянное било* — доска, в которую бьют для подачи различных сигналов.

[2] *Кандия* — колокольчик.

[3] *Паникадило* — люстра, многозвездный подсвечник в православной церкви.

опущенные камилавки. На клиросах[1] стояли певчие, а над аналоем[2] возвышался широченный в плечах тридцативосьмилетний священноинок Геронтий. Его длинные золотистые волосы опускались на плечи, а окладистая пышная борода была тщательно расчесана.

По рассказам матушки Тикусы, Геронтий приходился родным сыном московскому купцу Бриллиантову. Незадолго до начала первой мировой войны привез его отец в Белую Криницу погостить да набраться ума-разума. Но домой увезти не сумел, так как началась война и границу закрыли. После войны возвращаться молодому Бриллиантову в Россию было незачем. Доподлинно стало ему известно, что купечество новая власть разорила. Что стало с отцом, молодой Григорий не знал. Деньги, которые он ему оставил, растаяли быстро, что делать с собой, он не знал, потом поддался уговорам монахов и принял иночество, став отцом Геронтием.

В митрополии радовались, что заполучили сына известного ревнителя древлего благочестия. Молодой человек обладал незаурядным голосом и завидной внешностью, а это считалось не последним делом для привлечения верующих. Всего шестнадцать было тогда Григорию Бриллиантову.

Сейчас, хоть и не стар он еще, на волосах и в бороде у него уже стала появляться проседь. Службу вел он всегда с воодушевлением. И все ему пророчили архиерейский чин[3] И хотя и были у Геронтия промашки в молодости, за которые он был браним самим владыкой, все же он был у него любимцем.

Уставщица матушка Поликсения поставила перед алтарем столик, до самого пола покрытый пурпурным покрывалом с вышитыми восьмиконечными крестами. Матушка Касьяния взяла в руки икону Казанской богоматери, украшенную богатым золотым окладом и самоцветами. Матушка Феофания держала серебряный поднос, на котором рядом с евангелием лежали большие ножницы.

— За молитвы святых отцов наших господу помолимся,— пробасил отец Геронтий. От звука его густого

---

[1] *Клирос* — место для певчих в церкви.
[2] *Аналой* — высокий столик подставка для икон, креста.
[3] *Архиерейский чин* — звание архиерея, епископа, высшего церковного сановника.

мощного голоса пламя в свечах поблизости заколебалось. В церкви воцарилась мертвая тишина. Матушка Аркадия торжественно сказала «Аминь», и служба началась.

После чтений по уставу Аннушку провели в правый придел церкви, и две схимницы сняли там с нее мирскую одежду. Вместо шелкового платья на ней была теперь белая рубаха из грубого домотканого полотна. Монахини расплели ее толстую косу и расчесали пышные волосы, которые рассыпались по плечам. После этого к Аннушке подошла Тикуса и зашептала ей на ухо:

— Матушка Аркадия благословляет тебя именем Анфисы. Согласна ли?

Дрожа всем телом, племянница кивнула.

— Тогда начнем, маков цвет, крепись — и обретешь царствие небесное.

Игуменья звякнула в кандию. Священноинок Геронтий подал знак Тикусе, и она повела Аннушку на середину церкви. Здесь против нее стал Геронтий. Однако слова не шли у него с языка, и он смотрел на девушку, как завороженный.

Клиросники[1] уже начали пение антифона, а священноинок все молчал и не сводил с нее глаз. То ли красота Аннушки дара речи его лишила, то ли тронул вид ее потерянный. Поликсения легко толкнула его в бок.

— Объятие Отче отверсти ми потешися,— пробасил первые слова молитвы священноинок. Вздрогнула Аннушка, по спине у нее мурашки побежали. Перекрестясь, зашептала молитву, словно еще на что-то надеялась. На клиросах трижды повторили слова Геронтия и множество раз «Господи, помилуй». Геронтий же повел службу дальше.

— Что приде, сестра, припадая ко святому жертвеннику сему и ко святой дружине сей? — спросил он Аннушку, показав рукой на стоящих в черных мантиях монахинь.

— Желаю жития постнического, честный отче,— ответила она по подсказке Тикусы.

— Воистину доброе дело и блаженно избранное,— похвалила игуменья.

— Волею ли своего разума приходиши ко господу?

— Ей, честный отче,— подсказала Тикуса и за ней повторила Аннушка.

---

[1] *Клиросники* — певчие, поющие на клиросе.

— Может, от некия беды или нужды?

— Ни, честный отче,— отрицала она, покраснев.

После этого началось принесение иноческих обетов. Обещала Аннушка «храниться в девстве и целомудрии, имети до смерти послушание к игуменье и сестрам, терпеть всякую скорбь и тесноту иноческого жития». Затем она простилась с суетным и греховным миром, отреклась от него и от отца с матерью.

Сестры стояли недвижно, у многих увлажнились глаза. Пострижение их волновало, они вспомнили и свой горький час, когда из вольной жизни перешли в жизнь затворническую. Были и такие, что, глядя на красивую и молодую Аннушку, злорадно думали: «Погоди, вот кончится обряд, и будешь ты такая же, как и мы. И никому тут твоя молодость и красота не будут нужны. Завянут они, как розы в пустом стакане». Однако на лицах сестер этих чувств прочесть было нельзя. Тихо стояли они, наклонив головы. Не дай бог, заметят что матушки — осрамят, поставят тут же посреди церкви поклоны бить.

Вот уже и обеты принесены. Отец Геронтий показал на ножницы и сказал повелительно:

— Прими ножницы и даждь ми!

Совсем растерялась Аннушка. Уставилась широко открытыми глазами на ножницы, и казалось ей, что не ножницы то, а топор палача.

Заметил Геронтий ее замешательство и повторил:

— Прими ножницы, дочь моя, и даждь ми!

— Ну же, подай ему ножницы,— зашептала Тикуса, подталкивая ее руку к подносу.

Подала Аннушка ножницы священноиноку.

Но тот снова положил их на поднос. И опять:

— Прими ножницы и даждь ми!

И снова подала Аннушка ножницы, а тот опять положил их, а затем потребовал подать ему в третий раз. Этим подчеркивалось настойчивое, якобы, желание постригающейся совершить обряд.

— Се от руки Христовы взимаеши я: блюди, к кому приходиши и кому обещаешися,— наставительно сказал Геронтий и чуть улыбнулся.

Клиросники тихо запели тропарь[1]

[1] *Тропарь* — церковная песнь в честь какого-нибудь праздника или святого.

Отец Геронтий взял роскошные Аннушкины волосы в свою большую руку и занес над ними ножницы. Холодным потом покрылась девушка. Ноги у нее подкашивались. Ей хотелось оттолкнуть сильную руку Геронтия и крикнуть на всю церковь, что она не желает постригаться, что вера ее не столь глубока, чтобы стать монахиней, что она неправду отвечала на вопросы священноинока. Но ничего этого она не сделала, чувствуя, что еще немного и она свалится. Миг — и волосы упали к ее ногам.

— Во имя отца и сына и святого духа...— запел хор.

И тут она встрепенулась, закричала дико, себя не помня, но матушки уже держали ее под руки, а крики заглушило пение: «...господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй...»

— Отныне ты нарекаешься именем Анфиса,— возвестил Геронтий.— Сестра наша Анфиса, облачися в ризу веселия,— приказал он.

Глуховатым голосом бесстрастно стала читать ектинью[1] уставщица Поликсения, а сестры надели на Анфису темную мантию.

Геронтий меж тем стал басить одно за другим поучения. Аннушка ни слова не понимала и не старалась понять. Она тупо смотрела себе под ноги.

Вдруг двери церкви распахнулись, и ворвался запыхавшийся Колосов в сопровождении Сухорукова и кишиневских сватов.

— Что тут происходит?! — заорал ошеломленный Анисим Саввич, увидев свою дочь в монашеском одеянии.

В церкви стало совсем тихо. Лишь хор продолжал негромко петь.

— Чего молчите? Что тут происходит? Что тут делает моя дочь, бежавшая от венца? — уже тише спросил Колосов.

— Здесь нет вашей дочери,— пробасил Геронтий.— Здесь Христова невеста Анфиса, отрекшаяся от мира, от отца с матерью и постригшаяся в иночество.

— Ах вы, паскуды проклятые! — вне себя закричал Аннушкин отец.— Грому небесного на вас нету! Загубили девку, черноризцы! В преисподнюю б вас, бездельники!

---

[1] *Ектинья* — молитва.

Аннушка от страха вцепилась в руку стоявшей рядом Тикусы, а священноинок прикрыл лицо рукою, словно защищаясь от богохульных слов.

Тут Тикуса двинулась навстречу Анисиму Саввичу.

— Уйди от греха, Анисим, не шуми в божьем храме. Уж поздно бесноваться, обряд свершился. Нет у тебя больше дочери. Слышишь? Уразумей это.

Еще больше распалился гневом Колосов, на весь храм разразился бранью. Сестры с визгом позатыкали себе уши, а Геронтий стал осенять богохульника крестным знамением.

Матушка Аркадия, задрожав от страха, попятилась за колонну, уставщица Поликсения выронила из рук евангелие, а соборные матушки, плюясь, стали креститься. Лишь Тикуса не испугалась. Взъерошенная, возбужденная сознанием того, что праведное дело делает, бросилась она к Колосову и стала подталкивать его к дверям.

— Что ты глаголишь, беспутный, пошто на божий храм хулу возводишь, одурел, что ли, совсем?

— Поди прочь! — заорал он ей в лицо.— А то я не знаю, что это ты мне такое паскудство сделала,— и он, крепко выругавшись, схватил ее за плечи и стал трясти со злостью, так что свалилась с головы ее камилавка, обнажив пряди седых волос.

Тикуса смело взглянула в лицо Колосову. Изменился, изменился Анисим, совсем не тот, что прежде. Куда девался задорный блеск глаз, куда ушла красота с лица? Лоб в глубоких морщинах, темные складки возле носа, а в густой еще бороде обильная проседь. Каким был молодцом двадцать лет назад! А сейчас? Спина ссутулилась, и руки огрубели. Сколько раз, бывало, этот человек держал ее в своих объятиях, жег ей сердце нежными словами. И как ненавидяще он сейчас смотрит, словно убить ее готов.

— Не греши праздным словом во святой обители, Анисим! Смирись, поздно пришел.

Оттолкнул ее Колосов и бросился к стоявшей сзади Аннушке.

— Как ты посмела, срамница! Седину мою опозорила! Идем отсюдова! — И он хотел потащить ее к выходу, но Тикуса уже успела встать между отцом и дочерью, а священноинок Геронтий схватил Колосова за руки и крепко держал.

— Сказано вам, оставьте невинную агницу в покое. Поздно буянить, постриг уж свершился,— сказал он.

— Ах ты, бесстыжая святоша! — снова накинулся Колосов на Тикусу.— Мстишь, значит, мне за то, что не взял тебя замуж? Ха-ха-ха!..

— Зачем бога гневишь, Анисим, зачем такое городишь? Или не ты виноват, что мы расстались? Ты о себе лишь думал, на себя и пеняй. А дочь ты из-за жадности своей потерял. Кому ты ее за миллионы продать-то вздумал? Этому богоотступнику, этому убивце! — Разошлась матушка Тикуса, пошла на Сухорукова, и тот попятился от нее к выходу, а потом выскочил в открытые двери. Следом за ним выбежали и сваты.

Анисим Саввич замахнулся в злобе на Тикусу, но священноинок сгреб его в охапку, и оглянуться никто не успел — уже вынес его на паперть и с силой швырнул на землю.

— Вон из обители! — приказал.— И чтоб духу твово тут не было.

Колосов тяжело поднялся с земли. Он плакал. Прихрамывая на одну ногу, медленно поплелся с монастырского двора. Тикуса выбежала, чтобы захлопнуть за ним калитку. Спросила у привратницы:

— Сколько они дали тебе за вход? А ну, докладай!

Привратница вытащила из-за пазухи горсть смятых бумажных лей.

Тикуса взяла их, выбежала на улицу и бросила вслед уходящему Колосову.

Долго не могли прийти в себя все, кто собрался в церкви. Но когда, тяжело дыша, Геронтий и Тикуса воротились, матушка Аркадия подняла все еще трясущейся рукою кандию, ударила в нее, и служба пошла своим чередом. Кто-то из соборных матушек стал скороговоркой гнусавить поучения святого Василия из «Потребника»[1], но они не доходили до новоявленной монахини.

«Достойно инокине, прежде всех, нестяжательно жити, в телесе тихость, укрощение образа, глас умерен, слово благочинно имети, при старейших молчати, при мудрейших слушати, от злых, плотских и любопытных отходити.., стыдением укрощатися...»

Аннушка оцепенела, стала ко всему равнодушна. Ей казалось, что конца не будет этому.

---

[1] *Потребник* — книга, содержащая правила церковной службы.

«...Беспрестанно молитися, скорби терпети, ко всему смирену быти... не сплетатися житейским лихоглаголением, не завидовать, сострадати, не осуждати...»

Наконец новопостриженной дали в руки евангелие. Присутствовавшие при пострижении инокини приблизились к своей «ангельской сестре». Игуменья подошла к ней первой, поцеловала евангелие с молитвой и спросила:

— Каково твое имя в иноцех[1]?

— Говори, что Анфиса,— подсказала Тикуса.— Анфиса ведь ты теперь.

— Анфиса,— еле слышно повторила Аннушка.

— Спасай, сестра Анфиса, душу свою во ангельском чине. Желаю тебе, сестра моя, душевного спасенья,— игуменья облобызала ее.

Когда все поздравили новую сестру, игуменья взяла ее за руку и подвела к евангельской матери — Тикусе.

— Се предаю ти, сестра Тикуса, сестру Анфису от святого евангелия, еже есть от христовы руки чиста и непорочна; ты же приими ее, бога ради, к себе вместо дочери духовной, направи на путь спасения...

— Высока сия честь для меня, честная мать,— поклонилась Тикуса и повела племянницу в свой домик.

А через полчаса новая сестра увидела, как в тумане, за общим столом всех инокинь, высокого дородного старца в архиерейском облачении, улыбающегося священноинока Геронтия.

— Поздравляю тебя, сестра Анфиса, с ангельским чином,— услышала она старческий надтреснутый голос митрополита.— Блюди, дочь моя, себя в чистоте и благочестии.

— Благодарю вас, владыка святый.

Ответила она не по уставу, и матушки поморщились. Пафнутий, однако, милостиво улыбнулся и благословил всех на трапезу. Матушка Аркадия ударила в кандию, сестра Феофания скороговоркой почитала листвицу[2].

Соборные матушки запели стихиры [3], и все занялись едой.

Анфиса с трудом сидела за столом. Ее знобило, и

---

[1] *В иноцех* — в инокинях.
[2] *Листвица* — сборник христианских поучений.
[3] *Стихира* — церковное песнопение на библейские мотивы.

она не могла проглотить ни кусочка. К концу трапезы у нее вдруг закружилась голова, и она потеряла сознание. Все вскочили и бросились к ней. Решили уложить ее в светелке Тикусиного домика.

Очнувшись, девушка увидела перед собой те же лица, что были в церкви и за трапезой.

— Радуйся, сестра Анфиса, на тебя снизошла божественная благодать,— сказала ей уставщица Поликсения.

У нее не было сил вымолвить хотя бы слово.

Утром в окно заглянуло солнце и разбудило сестру Анфису.

— Ну вот, маков цвет, все страшное уже позади,— улыбаясь, сказала ей вошедшая матушка Тикуса.— Погляди в окошечко, какой лучезарный свет окрест, какая божественная благодать на земле. Все никчемное и греховное осталось в миру. Теперь не так, как прежде, день будешь встречать.

Сестра Анфиса выглянула в окно и увидела ярко горящие в лучах утреннего солнца золотые кресты собора, блестящий крутой скат крыши зимней церквушки и бело-розовое яблоневое цветение, радующее глаз. Среди фруктовых деревьев, словно перепуганные старушки, жались друг к другу три темных обительских домика. В сторонке от них стоял приземистый каменный дом настоятельницы. К нему примыкали трапезная и сараи.

Анфиса открыла другое окно, и взгляд ее упал на утопавшее в садах село. Над почерневшими от времени крышами домов возвышались маковки других четырех церквей. С их колоколен разносился праздничный перезвон.

— Заживем мы тут, голубь ты мой, тихо и спокойно, вдали он мирской суеты. Ты, главное дело, не унывай. Мы с тобой добро людям творить станем, отчего не так страшен будет нам смертный час,— ворковала матушка Тикуса.— И еще скажу тебе — держись от инокинь подальше, откровений им не делай, слабость свою им не показывай, горем и радостью не делись, подруг не заводи. При тебе они будут тебя хвалить, а без тебя лихоглагольством заниматися. Если надо что — иди лучше ко мне. От меня будет тебе совет, помощь и защита, елико возможно. И запомни, что

опаснее всех сестер игуменьи, а особливо матушка Поликсения. Нет в ней ни души, ни сердца — одна только видимость. Она хоть с малолетства тут росла, да добра не набралася.

Пораженная, смолчала Аннушка. И с этими матушками ей изо дня в день видеться? Под их началом жить? С этими сестрами ходить на моление? С новой силой печаль наполнила ее сердце.

Тикуса помогла новой монахине одеться, умыться и спрятать под скуфью[1] волосы.

— Так и впредь будешь прибирать себя.

Колокола звали к началу богослужения, и сестра Анфиса пошла с теткой в церковь. Началась ее новая жизнь...

---

[1] *Скуфья* — остроконечная мягкая шапочка, чаще черного цвета, у монашествующих.



Инокиня Анфиса

Не всяк монах, на ком клобук
(русская народная пословица)

И пошли дни за днями, похожие друг на друга как две капли воды: утренняя, полуденная и вечерняя молитвы, долгие стояния в церкви по воскресным дням и праздникам. Древнерусское православие не терпит никаких сокращений в службе. Тяжело выдержать старообрядческую службу от начала до конца, особенно с непривычки. Чувствуешь, что ноги не могут больше стоять, в пояснице ломота, в глазах, на голодный желудок, темно. А стоять надо чинно, не шелохнувшись, не смотря по сторонам. Лишь земные поклоны разминают затекшее тело, но от них порой устаешь больше, чем от стояния.

Нелегко было сестре Анфисе привыкнуть к новой жизни, к новому течению дней. Не понимала она, зачем нужно так истязать себя молениями, зачем простаивать добрую половину дня в церкви, множество раз повторять одни и те же молитвы? Разве не лучше было бы это время употребить на труд, на получение полезных знаний? После молений и общей трапезы в монастыре наступало сонное царство. Лишь сестры-трудницы копошились на скотном дворе и в кладовых, работали в поле и на покосе, да матушка Тикуса неустанно хлопотала, ведя монастырское хозяйство.

Чтобы заглушить тоску по мирской жизни, часами стояла сестра Анфиса на коленях перед образами, без конца отбивала поклоны, шептала молитвы, перебирала лестовку[1], подаренную ей теткой. Но порою вставали перед ней картины прежней ее жизни. Вспоминала она гимназию, своих одноклассниц, книги, которые успела прочесть, своих строгих, но добрых хозяев-староверов, с которыми она пила чай по вечерам. Опомнившись, с еще большим рвением начинала молиться.

Ходила она по обители молча, словно никого не видела, никого не замечала, безответно сносила насмешки сестер и щипки уставщицы, которыми та не забывала ее награждать.

---

[1] *Лестовка* — кожаные четки у староверов.

— Скучно тебе, маков цвет? — жалела ее Тикуса.— Ты все одна да одна. Этак и белый свет не взмилеет. Пошла бы к сестрам, посидела бы с ними, поговорила.

— О чем мне говорить с ними? Одни пересуды у них на языке. Да вот еще сновидения свои рассказывают.

— Ты и послушай. Толику развлечешься, веселее будет.

— Мне бы книжечку, Тикусочка...

— А ты почитай евангелие или псалтырь, возьмись за библию.

— Уж на который раз перечитала все.

И снова брела в церковь сестра Анфиса, снова бормотала молитвы. А душа опять протестовала, и какой-то голос изнутри ее вопрошал: «Зачем ты одела на себя апостольник, зачем погребла себя заживо? Или мир столь мал, что ты места себе в нем найти не смогла?»

— О господи! — падала Анфиса на колени.— Борют мя мысли и страсти мятежны, помилуй рабу твою, очисти мя, окаянную...

А от глаз матушек мятежные мысли не скроешь. Приметила, что не в себе инокиня, уставщица Поликсения и приказала ей молиться усиленно и поститься.

До изнеможения молилась молодая монахиня, изводила себя, постясь одну неделю за другою, кроме хлеба да воды ничего в рот не брала, горячую пищу вкушала только по праздникам. Металась по ночам в постели, потеряв сон. Побледнели, ввалились некогда румяные щеки, застыл взор прекрасных серых глаз. Разум мутился у сестры Анфисы, родную тетку она перестала замечать. Совсем заела ее тоска.

«Ну какая из нее монахиня,— думала Тикуса.— Не всяк монах, на ком клобук[1].— Про таких, как она, пословица придумана».

Дни бежали за днями, а Анфисе было все хуже и хуже. Встревожилась не на шутку матушка Тикуса. Знала она по себе, как трудно привыкнуть к жизни обительской, но такое отчаяние и ей было незнакомо. Не наложила бы на себя руки племянница!

Знала монастырская экономка одну старуху-знахар-

[1] *Клобук* — высокий монашеский головной убор с покрывалом.

ку, проживавшую неподалеку в Каменке. Не поможет ли она своими травами и заговорами? Хоть и грех великий иметь дело с теми, кто занимается волхованием, все же съездила к ней тайно вечером, незаметно пришила заговоренные узелки из шерстяных ниток к одежде племянницы, дала пить успокоительные отвары травок разных. Но от всего этого никакого проку не было.

Пробовала экономка советоваться с игуменьей и уставницей, но те твердили одно: «Пост и молитва — лучшее средство. Не поможет — одень на нее вериги[1], положи спать на голый пол, клади в постель камни на ночь».

«Не то, не то,— думала Тикуса.— Не ровен час, вгонишь в могилу этим девку. Выхода другого нет — нужно рассказать обо всем владыке».

Набрала матушка Тикуса в корзину редких вин и пошла за милостью к митрополиту Пафнутию. Владыка был уже чуть навеселе и встретил ее приветливо, поблагодарил за хорошие напитки, спросил, как поживает в монастыре племянница.

Заплакала матушка Тикуса и стала рассказывать.

Призадумался владыка. Навидался он за долгие годы митрополитства всякого: бывало не раз, что монах или монахиня веревкой удавится, а то подушкой себя удушит или крысиный яд примет. Встревожился он за молодую инокиню.

— Э-ге-ге, милая, так ты не убережешь свою племянницу: наложит она на себя руки или разума лишится. С непривычки-то ей, небось, безделье хуже каторги кажется.

— Так ведь ей бездельничать некогда, матушка Поликсения ее молитвами и постом истязает.

— Ну и что,— строго спросил Пафнутий,— помогает?

— Не помогает, владыка святый, не помогает. Она ведь, сердешная, на глазах, как свечка, тает. Теперь же хотят на нее одеть вериги, в постель камней насыпать...

— Вы что, сдурели там? — стукнул сердито жезлом владыка.— Крестьянская девка, и та может не вынести этакого, а тут создание нежное истязать начали.

— Так ведь по наущению уставницы все, владыка святый.

---

[1] *Вериги* — разного рода цепи, носимые верующими на голом теле, чаще всего для «смирения плоти».

— А ты, дура, для чего ей теткой приходишься? Вот положить вас с матушкой-то Поликсенией самих на камни, так дурь из головы сразу выйдет.

— Что же мне делать-то, владыка святый? Не гневайся, подскажи, Христа ради,— взмолилась Тикуса.

— Что делать? Гм, не спеши пока, давай подумаем. Как понял я, девица она чистая, умная, лжи и лицемерия в ней нет.

— Твоя правда, владыка святый, открытая она, вся, как есть, на виду.

— Греха от нее, значит, ждать не приходится. Похоже, что ее надо делом занять, но таким, однако, чтобы оно по душе ей пришлось. Как она, горазда до книжек?

— Горазда, владыка святый, горазда! Старый и новый завет уже на который раз перечитала, а теперь невесела, что больше читать нечего.

— Так, так. Тогда слушай меня, Тикусочка. Зашел я намедни в нашу митрополичью библиотеку[1] и увидел там мерзость запустения. Древлепечатные и рукописные книги, писанные еще при старых патриархах[2], валяются посредине пола, остальное свалено в кучи, и все пылью покрыто. Захочешь найти нужное — будешь неделю рыться, и без толку. Драгоценные старинные фолианты мыши грызут, разъедает их сырость. Прежний архивариус Овчинников не забывал блюсти порядок. А нынешнему — Никодиму не до книг вовсе: пьяница он. Я его собственноручно высек и отстранил от дел. Посидит в темной на воде и хлебе, а потом пойдет в трудники на конюшню. Пусть погнет спину-то на работе, толстопузый.

Тикуса не поняла, в какую сторону он клонит. Не обвиняет ли он и ее за непорядки?

— Я-то знала, что в библиотеке творится,— сказала она,— но давно туда не хаживала, владыка святый, в непотребном виде отца Никодима не хотела лицезреть.

— Что же ты молчала, не доложила мне? — сердито топнул ногой высокопреосвященный Пафнутий.

— Не дошла разумом, владыка святый! — упав ему в ноги, повинилась матушка.

— Ну, ладно, встань, не к тому я разговор веду. То

---

[1] Белокриницк библиотек был одной лучших в митрополии.

[2] *Старые патриархи* — те, которые были на Руси до патриарха Никона.

хочу сказать, что племянница твоя грамотная, умная. Вот и думаю поручить ей митрополичью библиотеку.

У Тикусы отлегло от сердца, она возликовала.

— Свози ее сперва в Черновицы, покажи, как там в резиденции униатского епископа устроено книжное хранилище, побывайте и в городской библиотеке,— поучал митрополит.— Чего морщишься-то, аль мое предложение не по душе?

— Так ведь они униаты[1], еретики, как же к ним ехать?

— Что ж, что униаты? Поучиться уму-разуму и у них не грех. Брали же мы когда-то попов никонианских и перекрещивали в свою веру. А первого митрополита, Амвросия, откуда привезли? Из Константинополя, столицы турецкой. От него у нас и пошли свои архиереи и попы. Так вот, поглядите, как у них там с книгами, а сделать надо, как для нас лучше. Ступай, зови голубку-то свою сюда. Я сам с ней потолкую и дам наставление.

Но матушка Тикуса переминалась с ноги на ногу и не уходила.

— Чего тебе еще?

— Не чти, владыка святый, за праздный вопрос, но как она будет ходить в библиотеку через мужскую обитель? Воззрятся на нее все...

— Кто воззрится, с тем у меня разговор короткий будет. Однако будь покойна, ей сделают ход прямой, через наш сад.

Из митрополичьих покоев матушка, не чуя под собой ног от радости, бросилась к племяннице. Не терпелось ей рассказать о великой милости. Но по дороге на нее нашли сомнения: а вдруг заупрямится, не захочет в библиотеку?

Но страхи оказались напрасными. Угрюмое лицо молодой инокини от этой вести просияло, в нем отразилась радость.

Через полчаса сестра Анфиса с теткой уже шла в митрополичьи покои... Путь их лежал через мужскую обитель. Высыпавшие во двор монахи не сводили глаз с молодой монахини. Наслышались они о ее красоте и вот теперь без стеснения разглядывали.

---

[1] *Униаты* — последователи церковной унии, т. е. объединения православной церкви и католической под властью папы римского.

— Ишь как уставились на тебя, жеребцы бесстыжие! — сердилась Тикуса.

— Хороша новенькая, ах, хороша! — слышалось со всех сторон.— Ангел во плоти!

— Тьфу! — плюнула, оглянувшись, матушка и погрозила монахам своим маленьким кулачком.— Вот пожалуюсь владыке, так задаст он вам ежицы.

Много раз слышала сестра Анфиса в обители о митрополите: что он не в меру крут, что собственноручно колотит попавшихся ему под руку провинившихся монахов, что сажает в темные подвалы братьев, уличенных в прелюбодеянии, приказывает их сечь розгами, держит на хлебе и воде, накладывает непосильные епитимьи. Боятся его не только простые священнослужители, но и архиереи.

— Правда ли, что митрополит Пафнутий жесток очень? — спросила она Тикусу.

— А как же иначе, милая! На то он и владыка, чтобы повелевать нами. Монахам дай только волю, сразу же о праведности позабудут, обитель в вертеп превратят. И еще о том подумай — живем-то мы где? Не на родной сторонушке, а под румынской короною. Упаси бог, чтобы не угодили чем властям, тотчас сгонят нас с насиженного места. У кого тогда будешь искать защиты и милости? Вот и печется высокопреосвященный о доброй славе для митрополии.

Слышала Анфиса и другое — будто кое в чем отходит Пафнутий от древлеправославной веры, «Окружного послания»[1] придерживается более, чем придерживались до него митрополиты, нововведения допускает, с «блудоносными» образами брадобритых знается, в Черновицах у греко-латинского епископа бывает, с климауцкими беспоповцами заигрывает. Вменяли ему в вину и то, что в 1935 году по случаю двадцатипятилетия освящения кафедрального собора женского монастыря в честь Покрова пригласил он в Белую Криницу королевских сановников, а матери-королеве подарил драгоценный камень.

[1] В 1862 году часть руководителей Белой Криницы, искавшая сближения с самодержавием, выступила с «Окружным посланием» и провозгласила в нем отказ от доктрин, наиболее осуждаемых официальным православием. Произошло разделение сторонников Белокриницкой иерархии на «окружников», тех, кто принял послание, и «противоокружников», или «раздорников», которые были против него.

Матушка Тикуса эти действия владыки оправдывала, называя их дипломатией. Но пуще всего осуждали владыку за пристрастие к спиртному, хотя и монахи, и окрестные старообрядцы выпивки не чурались.

Принял их владыка не в канцелярии, а в своих личных покоях, что уже было добрым знаком. Ласково усадил за стол, приказал подать чай, а себе и матушке налил по рюмочке.

Крепкий на вид, невысокого роста, коренастый, митрополит походил скорее на купца, чем на главу церкви. Взгляд его был прямым, но тяжелым, а лицо, как видно, от неумеренных выпивок — красным и отечным. Когда-то, говорили, он обладал немалой силой, мог разогнуть подкову. Ему и теперь старались не попадаться под горячую руку. Если хватит монаха кулаком — свалит с ног. Однако с женщинами был всегда отменно милостив, хотя лишнего ничего себе не позволял.

Выпивший только что несколько рюмочек, владыка был весел. Он усадил Анфису возле себя, стал расспрашивать про житье-бытье. Она молчала, не найдя, что отвечать.

— Знаю, знаю, нелегко тебе после мирской жизни приходится. Однако ты на матушек-то, Аркадию и Поликсению, не серчай. Что они понимают? Ведь говорят же — заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Так и наши матушки. Они хоть и много лет делами обители заправляют, а часто не туда, куда надо, палку гнут. В наше время их-то манером можно не токмо приумножить число ревнителей нашей веры, но и тех, что есть, растерять. Нам теперь нужны люди грамотные, как ты. А чтобы не было более над тобой несообразного началия, решил я взять тебя под свое крыло. Будешь ведать митрополичьей библиотекой. В ней собрано, дочь моя, немало зело ценных книг. Среди них есть и новые, есть и времен святой старорежимности, напечатанные или переписанные еще при первых четырех святейших патриархах московских, до тех времен, как православная вера не была испрокажена Никоном[1] Дело будет, если ты проявишь рвение и начнешь читать эти фолианты, на-

---

[1] Речь идет о церковной реформе Никона, при проведении которой было предпринято исправление богослужебных книг и внесен ряд изменений в порядок богослужения по греческому образцу.

берешься мудрости и тем обретешь душевный покой и получишь наставления, что для богоугодной жизни христианина требуется. Каждое слово, каждая буква не зря в тех книгах начертаны. Они разъяснят тебе все догматы православной веры. Знай, что спасение получит лишь тот, кто, соблюдая догматы эти, усердно служит богу, кто строго блюдет все каноны. Уразумела ли, дочь моя?

— Уразумела, владыка святый,— опустив голову, тихо ответила Анфиса.

— А если ты хочешь понять самую суть древлего православия, читай прежде «Скрижал»[1] и «Постную триадь»[2], а потом берись за «Часослов»[3] На этих книгах держится наша старая вера, и надлежит их знать хорошо. А захочешь просветить себя в деяниях старообрядчества, познакомься с житиями и сочинениями святых ревнителей древлего благочестия, а в первую очередь тебе следует узнать писания отца церкви нашей — протопопа Аввакума[4] и основателя нашей митрополии инока Павла Белокриницкого. Будет что непонятно, обращайся ко мне.

— Благодарю вас, владыка святый, за добрые советы,— произнесла наконец инокиня.

— А чтобы в архивах и библиотеке порядок был, побывай сперва с тетушкой в черновицких книжных хранилищах.

Владыка встал, давая понять, что сказал все. Матушка Тикуса облобызала милостиво протянутую им руку и подтолкнула к ней Анфису.

— Ох, как я рада-то за тебя, маков цвет,— сказала она, когда они вышли.— Как видно, по душе ты пришлась владыке. Таким ласковым я его еще не видывала.

На другой день сестра Анфиса уже знакомилась с библиотекой. Вид у книг, валявшихся где попало, был и в самом деле плачевный. У многих из них выпали листы, переплеты были изъедены мышами и жуком-точильщиком, страницы отсырели и покрылись плесенью. Рукописные фолианты лежали в открытых стеллажах на свету, отчего выцвели, а некоторые пришли в негодность. Ан-

---

[1], 2, 3 Названия книг особо почитаемых старообрядцами.

[4] *Аввакум* (1621—1682) — один из церковных деятелей, возглавивший раскол. Его «Житие» является ценным историческим и литературным памятником.

фиса решила, не откладывая, ехать в резиденцию униатского епископа. Более недели изучала она там библиотечное дело. Купила с помощью Тикусы карточки для каталога и журналы для регистрации книг. Кроме того, привезли они из Черновиц переплетчиков. Взяв к себе в помощницы двух молодых инокинь, Анфиса проворно принялась за дело. По распоряжению владыки помещение библиотеки, занимавшее первые два этажа колокольни, отремонтировали и отвели для нее еще одну небольшую комнату, где были теперь разложены самые ценные книги и архивные документы.

* * *

Почти полгода ушло на приведение библиотеки в порядок. Увлеченная работой, Анфиса постепенно успокоилась, и жизнь уже не казалось ей столь беспросветной. Свободное время она теперь проводила за чтением книг. Особенно сильно захватила ее своей драматичностью история раскола. Со страниц старых книг вставали перед ней живые картины прошлого.

...Бурлит, клокочет Москва. В одном храме служат по-новому, в другом — по-старому. В Архангельском соборе Кремля обличают раскольников. В других же церквах раскольники проклинают «западную крамолу». Заседает поместный собор, где споры разгораются еще сильнее. Победы одерживают никонианцы. Преданные анафеме противники церковных нововведений подвергаются жестоким преследованиям. Их гонят закованными в цепи в Сибирь и на Соловки, их сжигают в срубах, гноят в земляных тюрьмах, бьют кнутами. Но все это не дает ощутимых результатов, и число сторонников старой веры неуклонно растет. К раскольникам примыкают и городские низы, и влиятельные бояре. Даже в царском доме нет единодушия. Многие бегут от преследований на окраины России. Для их розыска направляются специальные военные отряды. Пылают староверческие скиты на Урале, в Заволжье, Сибири, Поморье. Общепризнанного главу старообрядцев протопопа Аввакума ссылают сперва в Сибирь, а потом на Дальний Север, в Пустозерск. Его подвергают нечеловеческим пыткам, но он продолжает обличать Никона, рассылает по всей стране сочинения.

Появляются фанатики дедовской веры, среди которых особо выделяются боярыня Феодосия Морозова, ее сестра княгиня Евдокия Урусова и жена стрелецкого полковника Мария Данилова. Протопоп Аввакум называет их не только «троицею», но и «тричисленной единицею». В их хоромах находят себе приют нищие, убогие, юродивые. Они разносят их слова по всей Москве. А потом и сама, одевшись в рубище, опальная боярыня Морозова ходит «по улицам стольного града». Прославились среди старообрядцев многие ученицы протопопа Аввакума и боярыни Морозовой. Это инокиня Меланья, уставщица Елена Хрущева и другие.

В 1682 году пустозерские ссыльники во главе с протопопом Аввакумом сжигаются в деревянном срубе «за великие на царский дом хулы». Недолго остается у церковной власти и патриарх Никон. За попытки поставить церковь над светской властью, над царем его лишают сана и ссылают в монастырь. Однако его реформа не отменяется, и раскол становится глубже.

Восстают против царской власти многие бояре и торговые люди. Никита Добрынин, прозванный никонианцами Пустосвятом, призывает к бунту народ в Кремле. Бунтуют стрельцы, родовитый боярин Хованский идет против царской воли. Раскольничье движение охватывает и крестьянские массы. Большая часть их примыкает к движению Степана Разина, а позже — Емельяна Пугачева. Над ними чинятся кровавые расправы, но и это не помогает.

У приверженцев старой веры появляются настроения безнадежности. Начинается ожидание кончины мира. А чтобы «не погибнуть во зле духом», распространяются такие чрезвычайные средства, как «самоуморения», «самозаклания», «самоутопления». Чернец Капитон призывает к самосожжению. Горят переполненные людьми церкви, горят дома и сараи. В одном Нижнем Новгороде только в 1682 году сжигают себя две тысячи раскольников.

Старообрядцы ощущают недостаток в церковнослужителях, и возникают споры, каким путем выйти из этого затруднения. Одни считают, что обходиться без священников церковь не должна и что она может принимать сбежавших от никонианцев попов после совершения исправительных обрядов. Другие таких попов не признают.

Беспоповцы разделяются из-за внутренних несогласий на различные толки. На севере страны основывает поморский толк соловецкий выходец Игнатий. Преображенское кладбище в Москве становится центром федосеевщины (основатель — Феодосий Васильев). Появляются титловщина и аристовщина, бегуны и дырники, рижский, польский, филипповский и многие другие толки.

Внутренние раздоры среди старообрядчества с каждым годом усиливаются. Нередко один толк враждует с другим не менее, чем с никонианцами. Нет единства даже у поповцев, которых не приводит к сплочению и создание Белокриницкой митрополии.

Почему не едины старообрядцы? Почему такие разногласия между толками? Больше всего Анфисе хотелось знать об этом. Она решила поговорить с уставщицей, которая слыла в монастыре большим знатоком всего, что касалось веры. Но, против ожидания, вопросы молодой инокини вызвали гнев у Поликсении, которая усмотрела в этом непозволительное шатание молодой сестры в старой вере и тут же наложила на нее тяжелую епитимью. Анфиса, никому не жалуясь, до боли в пояснице, до ломоты в ногах отбивала поклоны за свои греховные рассуждения. Но от этого ничего для нее не прояснилось. И тогда она решила открыться на исповеди священноиноку Геронтию. Выслушал ее Геронтий внимательно, а затем сказал, что сомнения не раз одолевали даже самого спасителя. «Христос в таких случаях удалялся в пустыню, — сказал он, — ты, дочь моя, как только кончиться епитимья, удались в свой кладезь премудрости, где у тебя святые книги,— *они* тебе на все ответят, а не малопросвещенные матушки. Ты много уже читала, но читай еще, пока до сути не доберешься».

Продолжая отбивать поклоны, думала беспрестанно Анфиса над этими словами. Странным ей показалось, что священноинок посоветовал ей к книгам обратиться, а сам отвечать не захотел. А может, и вправду бесполезно спрашивать? Размышляя об этом, она не заметила, как со счету сбилась. И не знала она, что матушка Феофания, посланная уставницей, стояла за колонной и считала ее поклоны. Оказалось, не все положила Анфиса, а на пятьдесят меньше. Побежала Феофания доложить об этом Поликсении. Та пригласила Анфису к себе

— Всевышнего, милая, не обманешь, он ведь все видит. Не добила ему сегодня поклоны, завтра отбей вдвое. А еще узнаю такое, не утерплю, доложу матушке Аркадии. А там, глядишь, и до владыки дойдет...

— Простите, матушка Поликсения, спуталась я в счете...

— А лестовочка с твоих руках зачем? В молодости нас, бывало, за это ею по рукам били. Нынче же вам волю большую даем, вот и снедают вас греховные помыслы. Ни святости, ни кротости в твоем лице не видно, ангельский чин не чувствуется.

И опять приходилось Анфисе часами бить поклоны перед ликами святых угодников, простаивать подолгу на молениях.

* *

Очень скоро Анфиса поняла, что монастырь только кажется тихой заводью, а жизнь его обитателей вовсе не исполнена святости. Чтобы держать инокинь в послушании, матушка Аркадия и ее сестры стремились знать не только, что делает и говорит любая из них, но и что думает, чтоб ни один их шаг не упустить из виду. Для этого и были у них заведены доносчики и соглядатаи. С одной стороны, они хотели каждую монахиню в узде держать, а с другой — боялись, чтобы какая-нибудь из них не возвысилась, не была отмечена милостью владыки.

Опасность для себя в Анфисе матушки почувствовали сразу. Чуть что не по ним сестра делала — клевали немилосердно. Не желая, чтобы грамотейка вперед вылезла, всячески старались ее охаять, оговорить, распускали о ней самые невероятные слухи. Не от них ли и пошел мерзкий слушок, что владыка ищет с молодой инокиней не только душевной, но и телесной близости? Анфиса тяжело переживала эти нелепые разговоры и плакала. Матушка Тикуса успокаивала ее, как могла.

— Вот, погоди, дознаюсь я через своих людей, кто распускает такие гнусности, доложу владыке.

— Неужели, Тикусочка, и у тебя есть свои доносчики?

— Без своих людей в монастыре жить нельзя,— ответила Тикуса.— Заедят матушки, и не будешь знать, из-за чего. А так, они против меня только начинают интригу плести, а мне уже все известно. Успеваю защиту найти.

— Разве не осуждает это господь наш, Тикусочка? Ведь в монастыре не должно быть места сплетням да наушничанью. Для того и обет мы даем не грешить этим.

— Ах, маков цвет, святая ты простота. Каждый из нас, хоть и молит бога о царствии небесном, но уповает на то, что бог милостив, и пускается для собственной защиты во все тяжкие. Вот намедни я узнала, что сестра Парасковия по наущению матушки Поликсении распускает слухи, будто ересью ты соблазняешься, над старой верой усмешничаешь, молишься без усердия. Я за это Парасковьюшку на скотный двор, на тяжелую работу. А не уймется — на хлеб и воду. Я о ней такое знаю, что жаловаться никак не посмеет. А ту, что доложила мне, облагодетельствую, чем могу, может, кусок сатина дам.

— Ну разве не грешно это?

— Ох, грешно, грешно, маков цвет,— перекрестилась Тикуса.— Однако же что поделаешь? Замаливать этот тяжкий грех придется. А без греха не было бы у нас и покаяния. Замоленный грех — прощенный грех. А ты, голубок, сходи в церковь да помолись-ка Николаю Святителю или Георгию Победоносцу, чтобы защитили тебя от злословия, уж не пожалей поклонов.

— Ладно, схожу,— согласилась без всякой охоты Анфиса.

В правом приделе зимнего храма висела большая, в рост человека, икона с изображением Георгия Победоносца. Живописная фигура храброго воина производила на Анфису сильнейшее впечатление. Георгий сидел на белоснежном коне, закованный в доспехи. Острым копьем он пронзил чудовище, которое извивалось у ног его коня. Мужественное лицо святого Георгия выражало один порыв — поразить врага. В его величественной фигуре Анфиса видела живое человеческое существо. Казалось, святой в любую минуту готов встать на защиту справедливости, поддержать слабого и беззащитного. К нему и решила обратить свою мольбу инокиня.

Анфиса упала на колени перед иконой и зашептала молитву: «Величаю тя, преподобный Георгий Победоносец, огради меня от беды и зла...»

Но не успела она дочитать молитву до конца, как перед ней оказалась уставница. Лицо ее было злым,

руки тряслись. Ухватила склоненную в поклоне Анфису за ухо и подняла во весь рост.

— Ты чего уставилась на Георгия Победоносца? Других, что ли, святых нет? Рядом висит чтимая всеми в обители богоматерь Смоленская, с другой стороны — Николай Святитель, чуть поодаль — Иоанн Креститель. А ну, пройди еще два шага, вот сюда, сюда,— и Поликсения больно потянула Анфису за ухо.—Видишь образ спаса нашего Исуса Христа? То-то же! Почему же ты его раньше не замечала? Почему ему не молишься? Бес тебе застилает пеленою глаза. Сегодня ты на Георгия Победоносца воззрилася, а завтра, чего доброго, как мирская девка, на парней глазеть станешь? Ишь, бесстыжая! — И уставница так дернула молодую монахиню за ухо, что у той пошла кровь.

— Простите, матушка Поликсения, но я думала, что все святые одинаково почитаемы.

— Ах ты, негодница! Откуда ереси-то набралась? Неужто ты господа нашего Исуса Христа на одну доску с Георгием Победоносцем ставишь?

— Не думала, матушка, я об этом...

— Не думала, значит, тебя бес смущает. Усмирять надо свою плоть постом и молитвой, тогда и святые бесплотными покажутся.

— Я и так, матушка, после того, как вы на меня епитимью наложили, на воде и хлебе живу.

— Мало! Надо на острых каменьях спать, на толченом стекле стоять! Тогда и вера глубокой станет.

— Я и так глубоко верую. Святой Георгий, защитник слабых, словно живой, для меня...

— Ишь до чего дошла, грома на тебя нету! — ужаснулась уставщица.— Новую епитимью на тебя наложить надо да в темницу запереть! Жаль, что не вольна я тобой распоряжаться. Доложу матушке Аркадии, а она уж владыке. А там и спрос учиним. Надо еще подумать—стоит ли тебя допускать к книгам. Небось, еретические читаешь?

— Зачем же докладывать матушке Аркадии,— взмолилась Анфиса,— накажите сами.

— Ага! Испугалась, негодница! Нет уж, потатчицей я тебе не стану!

Ни жива ни мертва вернулась к себе Анфиса. Тикуса, как увидела ее, всполошилась.

— Да что с тобой, маков цвет? Что приключилось опять?

— Прости меня, Тикусочка, и защити, если можешь. Видно, снова я провинилась перед матушками. Молилась я, как ты велела, Георгию Победоносцу, а матушка Поликсения обвинила меня в том, что я его другим святым предпочла. Стала выпытывать, почему я не стояла на коленях перед богородицей или Николаем Святителем. Бранилась за то, что Георгий Победоносец мне живым кажется. Хочет матушке Аркадии пожаловаться и чтобы владыке доложили.

— Так, так, милая, очень даже хорошо! — обрадовалась Тикуса.

— Что хорошего-то, Тикуса? Грозен, говорят, митрополит Пафнутий.

— Вот и хорошо, что грозен. Вашими же зубами, сестрички милые, я вас и укушу. Вдругорядь не тронете моей племянненки! Успокойся, маков цвет, ничего дурного ты не сделала, не согрешила. Это правительницы наши в злобе своей уж святых друг противу друга ставить пытаются. Пойду расскажу высокопреосвященному вперед их, а заодно и на сплетни пожалуюсь.

.После очередного запоя митрополит Пафнутий был мрачен. Вначале на Тикусу не взглянул даже, слушал ее невнимательно. Но потом рассказ заинтересовал его. Посмеялся даже. Но вдруг соскочил с дивана и забегал по комнате.

— Темнота, мракобесие! До чего мы дойдем! Где, в каком потребнике сказано, что нельзя молиться другим святым, кроме Исуса Христа и пресвятой богородицы?

— Нигде не встречала о том, владыка святый.

— То-то же! Ладно, ступай! Разберусь сам.

Но экономка против обыкновения не тронулась с места.

— Что там у тебя еще, выкладывай!

— Не смею, владыка святый, сплетни разные.

— Коли меня касаются, говори, не за язык же тянуть мне тебя.

— От матушек пошел слух, что ты, владыка святый, для телесной близости взял мою племянницу в библиотеку. Боятся ее возвышения правительницы, вот и распускают негожие слухи.

— Вот негодницы, суда на них нет! — митрополит чуть не задохнулся от гнева.—'Еще в молодости поборол я людские соблазны, кому не известно мое постничество? Ну ладно, будут помнить меня чернохвостницы! Ступай!

Испугалась Тикуса, что сболтнула лишнее. Вдруг келейница Марфа откажется от своих слов, вдруг соврала, что подслушала этот разговор между сестрами-правительницами? Понуро поплелась она в свой домик и там упала перед киотом. Час, и другой, и третий молилась, просила всевышнего наказать игуменью и ее сестер за лихоглагольство.

К самому худшему приготовилась и Анфиса, но расспрашивать тетку не посмела.

В молитвах прошла вся ночь. А утром по обители разнеслась молва, что матушка Аркадия попала к владыке в опалу.

— Услышал-таки господь наши молитвы,— сказала Тикуса и, облегченно вздохнув, перекрестилась.

Матушка Аркадия зашла к владыке вскорости после Тикусы. Глаза ее сверкали гневом, щеки пылали. Она не заметила, что митрополит был не в настроении и слушал ее насмешливо, то и дело нетерпеливо перебивая.

— Ха-ха-ха! — расхохотался он после того, как она закончила свой рассказ.— В своем ли ты уме милая? Чем же Георгий Победоносец плох?

— Всем он хорош, владыка святый. Я о том хочу сказать, что строптивая инокиня, которая ереси не чуждается, за мужа[1] его почитает.

— Вижу, вижу, что сестер, невест Христовых, не только ко мне ревнуете, но и к святым образам.

— Так ведь она в нем плоть видела...

— Да что ты мелешь-то, старая? Зачем наветы всякие не токмо на сестер, но и на меня возводишь?

Совсем растерялась игуменья, упала митрополиту в ноги.

— Умопомрачение нашло, владыка святый, умопомрачение, прости меня, грешную.

— Может, потому и умопомрачение, что ты в моем отеческом отношении к невинной агнице грех узрела? С чего это ты удумала, что она в святом плоть видит?

— По себе сужу, владыка святый, в молодости-то, бывало, и в Исусе Христе мужа видела. После того, как на камни и стекло себя ставила, все проходило. Вот и ее бы надо!

— Тьфу! — сплюнул владыка.— Дура старая! Ок-

[1] *За мужа* — за мужчину.

стись! Экую на старости лет дичь несешь! Совсем из ума выжила!

— Так ведь она сама сказала, что его живым видит. Да и насчет книг меня сумнение берет. Сдается мне — не те книги она читает. В вере шатанье имеет, с Поликсеньюшкой спорить осмеливалась.

— А разве не вы должны ставить сестер на путь истинный? Ведь Григорий Богослов говорил: «Светильником всей жизни признавай разум».

— Вот мы на нее епитимью и наложили, авось поумнеет!

— За что же вы так ее наказали?

— За то, что о никонианстве узнать захотела, владыка святый, книги, не угодные богу, читала.

— А... Так, по-вашему, в митрополичьей библиотеке такие мерзкие книги собраны? А скажи-ка мне, любезная, кто их написал?

— Не знаю, владыка святый, все из памяти вышибло.

— Поучения святых отцов церкви не знаешь? А про евангелие и про библию ты знаешь?

— Знаю, владыка святый, да давно не читала. Стало некогда читать, все позабыла.

— Так... А Иоанна Златоуста слова не помнишь? «Никто не должен говорить: не мое дело читать библию... Напротив, в чтении библии каждый найдет себе утешение». А что сказано у Иеремии в главе 48? «Многие погрешают те, которые презирают священные книги, нерадят в них и пренебрегают ими так грубо и немыслимо». Истинно про тебя, матушка, писано. Не многому же ты можешь научить сестер. Где уж тебе осуждать грамотейку Анфису. А пошто поклепы на владыку возводишь, что якобы не чисты его помыслы? А ну, кайся, старая, с какой целью ты все это выдумала? Да не медли, а то сейчас же на цепь посажу!

Побледнела матушка Аркадия, увидев, что дело плохо и нельзя не признаться.

— Боимся мы, высокопреосвященный, чтобы монастырская власть к инокине этой не перешла. Нету в ней глубины веры. Ведь в гимназиях-то нынче по безбожным книжкам учат. Небось, не избавилась она от этой ереси.

— А постриг-то на что был? Разве это не обращение к истинной православной вере? Да и из семьи-то она старообрядческой. Вот что я тебе скажу, матушка Аркадия. Пора отстранить тебя от дел. В соборные матушки

пойдешь. А на сестер твоих, соправительниц, епитимью наложить следует. От лености да безделья лихоглагольством занимаетесь, книг святых не читаете. Ступай теперь!

Лица не было на игуменье, когда она вышла из митрополичьих покоев. Пот горошинами выступил на лбу, ноги отказывались шагать. Кое-как добралась она до своей постели. Дня два еще подымалась и пыталась бить поклоны, а потом почти совсем лишилась рассудка.

Родные сестры и соборные матушки не отходили от нее ни на час. В редкие минуты просветления игуменья шептала запекшимися губами:

— Бес меня попутал, бес! За грехи мои, за гордыню! Прогневала я владыку, незачем мне жить теперь на белом свете...

Митрополит собрался, наконец, посетить библиотеку. Анфису известили об этом накануне. Выскребла, вымыла она все, чистые половички постелила. Сидела ждала у окна, а у самой сердце от страха так и заходилось: вдруг непорядок найдет или еще чем недоволен останется? Тикуса уже рассказала ей, как жестоко владыка обошелся с игуменьей. Высокопреосвященный чинов не разбирал.

И вот после долгих ожиданий и волнений увидела она в окно владыку. Шел он в сопровождении своего секретаря и священноинока Геронтия, что-то горячо с ними обсуждал. Миновав огромный, вымощенный булыжниками двор, они подошли к колокольне.

Анфиса открыла дверь и молча склонилась в глубоком поклоне. Гости, как положено, помолились на святые образа и прошли вперед. Владыка окинул быстрым взглядом библиотеку и улыбнулся в бороду. Чистота и порядок были кругом. Пахло свежевымытыми полами и сосновыми досками, из которых сделали полки. На полках были аккуратно разложены очищенные от грязи и пыли книги. Толстые обрезы поблескивали золотом в лучах заходящего солнца. Целый стеллаж был отведен только под библии, другой — под евангелия. Каких только не было тут книг! Одни настолько толстые, что их под силу поднять только человеку сильному, другие обычные, но попадались и совсем малые — со спичечную

коробку. У одних скромные коленкоровые, люстриновые или просто холщовые переплеты, у других — кожаные, сафьяновые, тисненные золотом или с инкрустацией. Немало и таких, что закованы в серебро и бронзу, разукрашены редкостными миниатюрами и самоцветами. На почетном месте в застекленном шкафу лежало приобретенное во Львове иноком Павлом Белокриницким «Острогожское евангелие», напечатанное в Галиции первопечатником Иваном Федоровым, основавшим после Москвы и там типографию. Переплет его был в застежках из бронзы, которые закрывались на ключик. Евангелие было прямо-таки бесценным.

Книги богослужебные, которые чаще всего бывали в обиходе в монастырях, занимали специальную полку, которая начиналась у входа и кончалась в переднем углу. Под образами, тоже в застекленном шкафу, хранились труды протопопа Аввакума и инока Павла, поучительные писания митрополита Кирилла и прочих отцов Белокриницкой церкви. Там же лежал оригинал «Окружного послания». Книги, обличающие никонианство и другие ереси, а также отвергающие нападки на старообрядничество, стояли в отдельном шкафу, который был всегда на запоре. В пристройке в сундуках хранились книги исторические и богословские, рукописи и древние фолианты, архивные документы и материалы. Были здесь и светские книги, энциклопедии, словари, справочники, атласы, географические карты. Посреди комнаты стоял письменный стол для владыки. Для всех прочих — конторки, за которыми работать можно было только стоя. При входе в библиотеку — маленький столик Анфисы и множество мелких выдвижных ящичков каталога.

– Отменно, дочь моя, отменно! — стал расхваливать Анфису владыка после того, как осмотр библиотеки был закончен.— Признаться, не ожидал я от тебя такого рвения. Теперь не зазорно и гостям показать это наше богатство. А ты, Паисий, доказывал мне, будто Никодим не виноват, будто наши книги разобрать мудрено,— упрекнул высокопреосвященный своего секретаря.

— Виноват, владыка святый,— низко опустил голову секретарь.

– То-то же. Ступай и приведи сюда Никодима, пусть поглядит, к чему ведет усердие.

Митрополит сел в удобное кресло возле стола и обратился к Анфисе.

— Вижу, выполнила ты мой первый наказ, а посему жалую тебе должность письмоводителя. Будешь с сего дня присутствовать в духовном монастырском совете и на соборе.

— Благодарю вас, владыка святый, только не заслужила я такой чести.

— А теперь скажи мне, выполнила ли ты другой мой наказ — познакомилась ли с премудростью книжною, как я тебе велел?

— Чтобы познать всю книжную премудрость, не хватит и жизни. Но в нашей истории со времен Никона, когда началась церковная смута, я пыталась разобраться.

— Похвально, похвально, дочь моя. А скажи-ка мне, все ли для тебя ясно стало, нет ли у тебя сомнений в нашей вере, вопросов каких? Не стесняйся, сказывай.

— Я уж спрашивала, владыка святый, да матушка Поликсения на меня опять епитимью наложила.

— Знаю, знаю, мой свет, но все-таки жду от тебя ответа.

— Не понимаю я, высокопреосвященный, почему, веруя во единого бога, отца, вседержителя, творца неба и земли, во единого господа Исуса Христа, сына божия и духа святого, мы ссоримся так с инакомыслящими, в том числе с никонианцами? Почему так мучили друг друга, ненавидели, сжигали себя в скитах и срубах? Неужели только оттого, что одни крестятся двумя пальцами, чтят старопечатные книги и осьмиконечный крест, а другие осеняют себя трехперстием, служат по исправленным книгам и признают четырехконечный крест? Разве это книжное и обрядовое различие столь важно для бога? Как это можно, чтобы один человек, творение божие, убивал и ненавидел другого, тоже сотворенного богом? Не больше ли греха во всем этом, чем в самих разногласиях? Простите, владыка святый, но, думая о гуманности, о десяти божьих заповедях, о евангельском поучении возлюбить врагов наших, о великой доброте и крестных муках Исуса Христа, я не могу понять той вражды, которая нас разделяет с большей частью русского народа.

— Похвально и это, дочь моя, что говоришь ты со мной откровенно, не юлишь, не заискиваешь, не таишь

в себе того, что смущает. Попробую ответить на вопрос так же прямо, как он был тобою задан. Я не буду касаться истории раскола, судя по всему, ты хорошо этот вопрос уяснила. Наверное, ясно тебе, что не мы, а Никон виноват в великой смуте, которая началась на Руси после его новшеств. Начнем хотя бы с книг. Почему мы не согласились с Никоном? Да потому, что в старых наших книгах каждое слово выражает великий догмат православной веры, спасительный для любого человека. Все великие русские чудотворцы богоугодники именно по этим книгам, а не по новым, никонианским. Да и какой истинно православный не знает, что только та вера праведна, в которой его отцы и деды жили, в которой он на свет появился. Вот посему, когда Никон посягнул на святая святых, ревнители древлего благочестия, коих вера незыблема была, готовы были скорее умереть, чем от своего отступиться. Вот и подумай, еще с князя Владимира Красное Солнышко повелось писать на Руси имя Христа спасителя — Исус. А никонианцы его переделали на еретический лад — Иисус. Всегда мы пели «аллилуйя» дважды, служили на семи просфорах[1], почитали только осьмиконечный крест и благословлялись двумя перстами. Все эти догматы и спасительные тайны ведут свое начало от Христа и его святых апостолов, так могли ли мы допустить, чтоб их скверна коснулась?

Сделав небольшую передышку, митрополит Пафнутий стал горячо доказывать Анфисе вину Никона, его жестокость и безбожие.

— Это он в текстах богослужебных книг ввел непозволительные перемены, это, ему вторя, еретики стали писать Иисус, петь «аллилуйя» трижды, служить на пяти просфорах, почитать четырехконечный крест, ходить против солнца. И, наконец, они ввели эту щепоть! Владыка перекрестился по-никониански левой рукой, чтобы не поганить правую.

— Это, дочь моя, не пустяки, а страшные отступления от веры, и все истинные христиане не могли стерпеть такого надругательства. Запомни, милая, в вере нет мелочей, даже один шаг в сторону — это ересь!

— Простите, владыка святый, что осмеливаюсь спросить вас еще об этом. Никониацы утверждают, что

---

[1] *Просфоры* — белые круглые хлебцы, употребляемые в богослужении.

они исправляли книги согласно греческим образцам.

— Врут они! — сплюнул Пафнутий.— Книги, которые они взяли за образцы, были уже испрокажены западной ватиканской церковью. За это господь бог обратил греков на долгие лета в турецкое рабство. Но никонианцам и то уроком не стало.

— Я понимаю, владыка, что велики различия с никонианством, однако стоило ли все же ради доказательства своей правоты решать друг друга жизни, ненавидеть и презирать? Не больше ли, повторяю, в этом греха перед господом, чем в уступке друг другу? Ведь не бьемся же мы с латинянами и басурманами, хотя их вера и совсем ничего общего с нашей не имеет. Более того, наши предки старообрядцы прятались от никонианцев в устье Дуная под турецким владычеством. И теперь там живут некрасовцы.

— Все это так, Анфисочка, но в твоих рассуждениях есть изъян. С басурманской верой мы никогда не мирились, а попов латинских испокон века проклинаем как наипервейших еретиков. Что же касается никонианцев, то не мы угоняли их с родных мест и жгли в срубах, а они нас, не Никон принял мученическую смерть, а протопоп Аввакум. И по сей день не наша церковь господствующая, а никонианская. Мы же вынуждены были основать свою митрополию на чужой земле, не на русской.

— Это исторические факты, и никто их, конечно, не может оспаривать,— сказала Анфиса.— Но зачем же и сами себя жгли старообрядцы? Разумно ли было предавать смерти и малых детей?

— Они вынуждены были идти на это, чтобы отстоять свою веру, ее чистоту.

— Владыка святый, никонианцы обвиняли нас и в других грехах — будто бы мы мешали прогрессу, тянули Россию назад. Они утверждали, что останься все по-старому, Россия стала бы такой же легкой добычей врага, как Византия.

— А новшества, которые ввел Никон, разве не привели в конце концов к воцарению в России антихриста? Там ему сейчас вольное царство.

— Но не к распаду же России они привели, не к порабощению ее иноземцами.

— Остра! Так старика недолго и в угол загнать,— улыбнулся Пафнутий.— Конечно, кое в чем и сторонники старой веры были не правы. Об этом они сказали в

1862 году и сделали уступки в «Окружном послании». Не стоило, как это делали некоторые беспоповцы, спорить из-за паспортов, переписи, подушного налога, молитвы за царя. Всякая власть от бога, говорится в писании. Не признай, к примеру, мы в Австрии паспорта, нам бы не разрешили поселиться на Буковине, а тем паче создать иерархию. Для первого нашего митрополита Амвросия пришлось в первую очередь хлопотать австрийский паспорт. Упрямство и теперь может причинить вред древлеправославной вере. Мы должны уступать в малозначительных мелочах, чтобы сохранить главное. Нам важно не закоснеть в невежестве, не проявлять мелкого упрямства, и посему мы нуждаемся сейчас в людях грамотных, здравомыслящих и в то же время преданных нам всей душой. Я вот возлагаю большие надежды на священноинока Геронтия, который мне все равно как родной сын, да и на тебя, дочь моя. Мы должны сохранить свое лицо и отстоять свою веру в этом чужом нам мире. Нам необходимо также понимать, что времена изменились, и, коли нужно, вносить необходимые поправки, не противные нашей вере. И это могут сделать только такие, как вы.

Священноинок Геронтий поглаживал бородку и многозначительно поглядывал на Анфису. Она же слушала Пафнутия с широко открытыми глазами, крайне удивленная, ибо знала, что такие мысли у старообрядцев обычно не терпелись, считались вольными. Колеблющихся, способных на уступки, а тем паче отходящих от устоев древней веры поповцы тут же прогоняли прочь и предавали анафеме. А тут она вдруг такое слышит от самого владыки. И трудно понять, что он за человек: то добр и умен, то жесток и безрассуден, то категоричен и резок, то уступчив и терпим. Кажется человеком непреклонной воли, и в то же время это самодур.

— О чем задумалась, дитя мое? — ласково спросил ее митрополит.— Может, речи мои непонятны, может, не согласна с чем?

— Мне нужно еще о многом подумать, чтобы лучше понять.

— Ну хорошо. А и утешила же ты меня, Анфисочка, своими познаниями, своим пытливым умом. Я и впредь буду рад вести с тобой задушевные беседы. А чтобы ты независимой была от сестер наших, я возвожу тебя в головщицы. Голос у тебя отменный. Будешь не только за

собой вести всю певчую стаю, но и наблюдать за своими клиросниками во время церковной службы. Будешь ты на равных правах с уставщицей. Это священноинок Геронтий за тебя такое ходатайство передо мной выдвинул.

— Премного благодарна, высокопреосвященный, за ваши щедроты. Только вряд ли я их заслуживаю.

— Ничего, дочь моя, это поможет тебе укрепиться в вере и стать самостоятельной. Благословляю тебя вот этим золотым крестиком с алмазами.

Анфиса, не смея принять такой подарок, попятилась назад, но владыка, поцеловав ее в лоб, собственноручно надел на нее крестик.

Долго не могли уснуть в ту ночь Тикуса и ее племянница, обсуждая милость Пафнутия, обычно такого скупого даже на похвалу.

— Шутка ли, подарка такого удостоиться! — восхищалась экономка.— И ты носи этот крестик, не снимай. Пусть все видят, что ты у владыки в милости. Вот и выходит, что святой Георгий тебя защитил.

Наутро, после церковной службы, священноинок Геронтий объявил собравшимся новые достоинства инокини Анфисы.

Через неделю, так и не придя в разум, скончалась на восемьдесят первом году жизни игуменья Белокриницкого женского монастыря матушка Аркадия. Похороны решено было провести со всем освященным собором, для чего в Белую Криницу пригласили многочисленных гостей из разных епархий. Все заботы по их приему и размещению легли в основном на матушку Тикусу. Почти без сна и без отдыха три дня и три ночи хлопотала она, чтобы снарядить в последний путь усопшую, а также загодя сготовить к поминкам холодные и горячие яства, напечь пирогов и блинов, сготовить напитки, сварить кутью. В такие дни двери трапезной не закрывались — заходи любой и садись за стол.

На поминальный обед здесь соберутся члены освященного собора, родственники умершей, знатные гости. В келарню же сядут свои, монастырские, и гости попроще. Для них тоже надо стараться, а то пересудов не оберешься. Для прочего люда — мужиков из села,

нищих, убогих, калик перехожих — столы надо накрыть во дворе. И везде нужен глаз да глаз!

«На поминках решится вопрос о преемнице,— думала Тикуса. Священноинок Геронтий шепнул ей по секрету, что выбор может пасть и на Анфису.— Его бы устами да мед пить. Уж мы-то поставили бы монастырское хозяйство!» И все же на душе у нее было неспокойно. После смерти игуменьи владыка словно виновными себя и ее считал, ни разу не заговорил с ней, не взглянул на нее даже.

Ко времени отпевания Тикуса так умаялась, что еле добралась до ризницы. Надо было еще приготовить все необходимое для митрополита и священства, которые будут вести заупокойную литию[1]

Вынесла в алтарь облачения, положила сверх всего митру[2]. Да, видно, заторопилась, уронила ее на пол. Положила на место и побежала в ризницу за литым золотым крестом и евангелием, украшенным самоцветами.

Наконец, все было готово в храме к началу заупокойной службы. Десятки свечей горели в бронзовом паникадиле, курился в кадилах ладан. Гроб был убран цветами. Около него стояли с бледными лицами во всем черном сестры умершей, а вокруг остальное монашество и мирские.

Вот пожаловало и священство, прибывшее на похороны, с митрополитом Пафнутием впереди. Зазвенели церковные колокола, хор запел: «Преукрашена божественною славою священная и славная память твоя...» Владыка был сердит, во время одевания ворчал и придирался к Тикусе. Последней ему подали митру. В ней кроме крупного, с лесной орех, бриллианта, было множество мелких да немало александритов, рубинов и изумрудов. Кроме того, вся она была усеяна жемчугом и расшита золотом. Изготовили ее по заказу рогожских святителей во второй половине прошлого века на Екатеринбургской граверной фабрике специально для Белой Криницы.

Взглянув на митру, владыка оттолкнул от себя послушника и окликнул Тикусу.

---

[1] *Заупокойная лития* — краткое молебствие об умерших.

[2] *Митра* — позолоченный и украшенный головной убор епископов и заслуженных священников, употребляемый во время богослужения.

— А куда ты, милая, из митры драгоценный камень девала?

Тикуса глянула на митру и ахнула — самого крупного бриллианта не было. Неужто похитил кто?

— Как же так, камень я только что видела, когда митру брала из ризницы, владыка святый...

— Может быть, я его взял?

— Как можно, высокопреосвященнейший, разве я такие мысли держать могу!

— Тогда, может, кто из них? — и митрополит оглядел собравшихся в алтаре тяжелым взглядом.

— Нет, нет, что вы, высокопреосвященный.

— Тогда кто же его похитил? Воры? Разбойники? Сознайтесь, кто взял бриллиант!

Инокини попадали на колени, униженно залепетали, монахи опустили глаза. Упала в ноги митрополиту матушка Тикуса.

— Прости, владыка святый, не знаю, как это получилось. Камень был в митре, когда я несла ее, а теперь нет. Не доглядела я...

— Что значит, не доглядела? — возмутился Пафнутий.— Так-то ты бережешь наше добро? Распустила вас покойница! — И митрополит с силой оттолкнул от себя Тикусу. Та опрокинулась на спину и ударилась головой о престол[1], тут же потеряла сознание. Ее лицо залилось кровью. В алтаре все замерли от страха, боясь пошевелиться. Лишь Анфиса бросилась к тетке и стала перевязывать ей голову платком. Пафнутий наклонился над экономкой и брызнул ей в лицо водой.

— Зачем же вы так, владыка святый? — тихо сказала Анфиса с укором.

— Молчать, книжница! Она сама упала — это все видели.

Когда Тикуса очнулась, митрополит приказал:

— Всем оставаться в алтаре! Священноиноку Геронтию и матушке Феофании всех обыскать. В тюрьму, на каторгу преступника!

Еще ниже склонились головы тех, кто был в алтаре, послышались возгласы:

— Неповинны мы, неповинны!

— А где же тот, кто повинен? — сердито стукнул

---

[1] *Престол* — стол в алтаре против так называемых царских врат.

жезлом митрополит. Что-то сверкнуло на ковре и покатилось, рассыпая вокруг разноцветные искры. Священноинок нагнулся и поднял с пола бриллиант. Владыка перекрестился. Вместе с Геронтием он вставил камень на место.

— Встаньте! — усталым голосом сказал он коленопреклоненным монахам.— И ты встань, Тикуса.

— Прости меня, сирую, владыка святый, заторопилась, недоглядела я. Больше такого не будет.

— Еще бы! — усмехнулся Пафнутий.— Этому камню цены нет.— Затем он повернулся к Анфисе и внимательно взглянул на нее: — А ты, оказывается, дерзкая, почтения у тебя к владыке нету.

Анфиса стояла молча, опустив голову. Высокопреосвященный отвернулся.

— Епитимью в тысячу поклонов! — бросил он через плечо и пошел к царским вратам[1]

Соборные матушки, оставшись одни, многозначительно переглянулись, а Феофания засеменила к сестрам, чтобы скорее поведать о случившемся.

Сестра Анфиса заняла место головщицы левого клироса и пыталась вспомнить, с чего начинать пение, но все слова вылетели у нее из головы. Перед ее глазами все еще стояла отвратительная сцена, разыгравшаяся в алтаре.

А заупокойная служба вскоре пошла своим чередом, и вел ее сам митрополит Пафнутий. Соборные матушки поставили посреди храма столик, покрытый черной материей с нашитыми на ней белыми осьмиконечными крестами, положили на него икону, крест, мед и кутью. В унисон женскому запел мужской хор. Голоса Аннушки не было слышно. После пения канонов хор завел прощальную: «Приидите, последнее дадим целование...»

После отпевания монахини взяли в руки кресты, хоругви[2] и поминальные блюда. Монахи, что порослее, подняли гроб с телом матушки Аркадии и понесли к выходу. Хор мощно запел погребальное «Святый боже...» Сразу же за гробом пошли сестры умершей, матушка

---

[1] *Царские врата* — центральные двустворчатые двери иконостаса.

[2] *Хоругвь* — большое полотнище на длинном древке с изображением Христа, святых и т. п.

Тикуса с перевязанной головой, соборные матушки, священство и уже затем прочий люд.

Процессия прошла вдоль наружной монастырской стены и направилась на погост. У могилы пропели все положенные каноны и возгласили вечную память, а затем предали тело земле.

На поминках все с нетерпением ждали, когда прикажет владыка перед началом ударить в кандию. Кому прикажет — та и станет игуменьей. Не только до сестер и братьев, но и до жителей Белой Криницы уже со всеми подробностями дошло то, что произошло в алтаре. Теперь шли споры о том, кому достанется игуменское место.

Вскоре из уст в уста стала передаваться новость, что всех претенденток на это место — инокиню Анфису, экономку Тикусу, уставщицу Поликсению и казначейшу Касьянию — митрополит Пафнутий усадил подле себя.

Дольше обычного не начиналась трапеза, уже остыли многие горячие блюда, уже онемели ноги и руки у чинно сидевших гостей, а митрополит все не давал благословения, сидел в глубокой задумчивости.

Наконец он дал знак уставщице Поликсении ударить в кандию и кивком головы показал ей на игуменское место.

После сорочин[1] по матушке Аркадии владыка милостиво простил Анфису и обласкал новой мантией Тикусу. Поликсении был вручен настоятельский жезл, и она с пением духовных псалмов была препровожена в игуменские покои.

И снова в монастыре жизнь пошла, как будто ничего не произошло, ничего не изменилось. Те же ежедневные службы, ночные молитвенные бдения, спевки церковного хора и совместные трапезы. Но Анфису никто уже не трогал, никто не тревожил. Она по-прежнему была занята в библиотеке и церковном хоре. Владыка к ней больше не приходил, лишь изредка запрашивал через секретаря нужные книги и через него же возвращал их.

Постепенно происшествие в алтаре стало забываться, и Анфиса снова обрела относительный душевный

---

[1] *Сорочины* — поминки по умершему на сороковой день после смерти.

покой. Но ненадолго. Вскоре ей опять выпали тяжелые переживания.

* *

В один из воскресных дней, когда в Покровском соборе шла праздничная литургия и Анфиса выводила своим чистым серебряным голосом «Слава тебе, господи, слава тебе...», ей показалось, что среди молящихся мелькнуло лицо женщины, до боли знакомое. Анфиса не могла его за этот миг рассмотреть, но ей показалось, будто увидела она свою мать. «Неужто померещилось?» — подумала она.

Из алтаря вышел священноинок Геронтий и протяжно затянул: «Миром господу помолимся...» После перенесения даров из жертвенника на престол хор грянул любимую Анфисину «Херувимскую песнь», и ее голос покрыл голоса певчих. Как только песнь стихла, Анфиса услышала чьи-то сдавленные рыдания. Она быстро оглянулась и увидела неподалеку, у колонны, мать с упавшими на плечи волосами. Как она изменилась! Всего полтора года прошло с тех пор, как Анфиса бежала из дома, а мать выглядела на добрый десяток лет старше. Щеки поблекли, ввалились, у рта залегли скорбные складки. Лихорадочный блеск ее глаз говорил о крайнем волнении женщины.

Анфисе хотелось немедленно броситься к матери, но надо было еще пропеть «Похвальную песнь». Как подошла к концу служба, как пропела она свою партию, Анфиса не помнила. Все завертелось перед ее глазами: и сверкающая позолотой риза священноинока Геронтия, и черные апостольники сестер, и белые платки прихожанок, и многоцветные огни лампад и свеч. Еще слыша густой бас Геронтия, с бледным, как алебастр, лицом стала она медленно оседать. Певчие подхватили головщицу.

Пришла она в себя от душераздирающего крика матери:

— Доченька моя, ненаглядная моя, Аннушка, что с тобой?! Очнись, кровиночка ты моя родная! Очнись!

Молча заплакали они в объятиях друг друга. Собравшиеся в церкви повернулись в их сторону, у многих на глазах появились слезы. А из ризницы к ним уже семенила матушка Тикуса. Молча взяла она их под руки

и вывела из церкви через боковые двери. По дороге стала сестре выговаривать:

— Как же это ты, сестрица, без всякого предупреждения и прямехонько в церковь? Этак можно кого хочешь перепугать.

— Ах, не думала я, не серчай уж на меня. Дочку хотела скорей повидать.

— Ну, ладно, ладно, сейчас вот посидим по-семейному, чайку попьем.

— Я ведь страшную весть привезла, Тикуса. Убийство у нас. Поликарпушка в горячке загубил Анисима. Не по умыслу, бедный, а, видать, по помыслу божию. Уж очень сильно изгалялся покойник над ним да и надо всеми нами.

Тикуса побелела, как полотно, и, остановившись, схватилась за сердце, Анфиса почувствовала дурноту и чуть слышно сказала:

— Это я во всем виновата, все с меня началось...

— Что ты, родненькая, нешто тебя винить можно? Они ведь с каких еще пор ненавидели друг друга, да как люто! Только вида не показывали.

— Какой ужас, какой грех! — воскликнула Тикуса.

— И грех этот на мне лежит,— с раскаянием сказала Матрена.— Не было у нас с покойником ни любви, ни согласия. Моя первая вина, что согласилась выйти за него замуж. Если можешь, прости, сестрица, Христа ради. Не досталось мне за это счастья. Жили мы непутево, каждый в свою сторону шел, на другого не глядючи. Вот и распалась семья: Анисим в могиле, Поликарп в тюрьме, ты в монастыре, Савелий к сектантам подался. А я вот, никому не нужная, только зря небо копчу.

Женщины прошли в дом, и Матрена поведала сестре и дочери, что произошло в Куниче.

— Как ушла ты, доченька, в ту ночь,— непогодь разыгралась, дождь лил, как из ведра. Отец-то с гостями спьяну спали почти до полудня без просыпу. Никто про тебя не вспоминал. Лишь после того, как Авдотья поставила на стол расстегаи и самовар принесла, отец послал за тобой. Авдотья в светелку — а дверь заперта, на стук никто не отзывался. Вернулась она перепуганная. Анисим сам побежал к тебе. Постучал, постучал, а потом взял да и высадил дверь топором. Я же, ничего не знавши,— тоже с ним. Одна дума в голове была:

не наложила ли ты на себя руки. Но в комнате пусто было, у меня отлегло от сердца. Окно было открыто, и мы поняли, что сбежала ты. Все же еще поискали тебя по дому и двору, бегали в село, людей поспрошали, проверили колодцы. Мне, однако, Поликарпушка шепнул, что ты уехала в Белую Криницу.

Потом Анисиму сказал кто-то, что видели тебя на станции и провожал тебя Поликарп. Вот где он взбеленился! Меня за волосы таскал, бил головой о стенку, дознаться все хотел, куда ты уехала. Христом богом клялась я ему, что не знаю. Да разве он мог этому поверить? Уже чаяла богу душу отдать, все равно ведь мне жизнь не в радость. Но тут Поликарпушка не вытерпел и рассказал отцу, что помог тебе бежать из дома, да только куда уехала, про то смолчал. Анисим-то чуть было не порешил его тогда, бил страшным боем. Ничего не сказал ему Поликарпушка, а потом в беспамятство впал. Тут я не выдержала, брякнула, чтобы спасти Поликарпа, что уехала ты в Белую Криницу погостить к Тикусе.

Анисим тут же запряг лошадей и вместе с этим старым иродом Сухоруковым сюда помчался. Не успел, однако, лишь после пострига явился. Домой, милые, он вернулся не в себе, как пес бешеный был. Все в доме крушил да рубил. Савелий его до поры до времени не трогал. Но когда Анисим взял в руки спички и ведро с керосином, он связал его и в погреб бросил.

На другой день вроде бы и успокоился отец, Савелий его развязал и выпустил из погреба. А он лошадей запряг и куда-то уехал, а вернулся только через два месяца.

Поликарпушка-то, почитай, две недели валялся без памяти. Да и у меня моченьки не было подняться с постели, все головными болями мучилась. Авдотья делала мне примочки, брусничной водой поила, травки разные настаивала. Лишь через месяц мне полегчало. А Поликарпушка не подымался с постели чуть ли не год. Никто и не думал, что он поправится, хворобушка совсем было одолела его. Раны у него гноились. Ох и намучился, болезный! Уж и яду стал просить. А я, как только ноги с постели спустила, давай за ним ходить. Сама ездила к знахаркам и докторам, ставила за его здоровье свечи, заказывала молебны. Сжалился бог над ним — к весне стал поправляться. Но больно страшен

был — кожа и кости, да и речь пропала. Выйдет на завалинку возле дома на солнышко погреться и все перед собой глядит, молчит, ровно аршин проглотил.

А тут еще и с Савелием худые дела начались. Трясуном стал, то бишь хлыстом, по-ихнему. По ночам все уходит на свои сборища. Сперва сам, опосля и жену водить стал.

Анисим совсем пропащий стал. Редко-редко в дом заявится, да и то больше пьяным. Все по кабакам да по цыганкам шатался. В общем пошла у нас не жизнь, а одно мучение. Кабы не Поликарпушка, я бы в монастырь ушла. А Савелию вдруг понадобилось имущество. Дели, давай, добро-то, говорит отцу, а тот и в ус не дует: ему кутить надобно. Ну, Савелий в одночасье сильно его побил. Анисим почитай что месяц после того лежал на печи, только воду пил.

Как на ноги поднялся, один раз поутру, мы еще спали тогда, взял топор в руки и приказал нам с жизнью прощаться. Видать, умом тронулся.

— Господи, страсти-то какие,— Тикуса стала креститься на образа.— Озверел совсем человек.

— Я на колени, сноха и дети тоже перед Анисимом на колени,— продолжала Матрена.— Савелий же прощения просит, слезами обливается. Один только Поликарпушка лежит на полатях и голоса не подает. Анисим-то и полез туда с топором. А Поликарпушка его в один миг утюгом пристукнул, прямо по буйной его головушке. Тот и замертво. Никто и не знал, что у него утюг на полатях. Правду говорят: и сырые дрова загораются. Уж сколько терпел парень, а тут весь вспыхнул.

— Господи, спаси и помилуй! — стали креститься Тикуса и Анфиса. А Матрена продолжала свой страшный рассказ.

— Бросилась я к Анисиму, а он уже бездыханный. На мой крик люди сбежались, полицию позвали. А Савелий тем временем принес веревку и связал Поликарпушку. Тот и не сопротивлялся.

— Боже, боже, что делается, сын убивает отца, а брат предает брата,— заплакала Тикуса.

— Хоронили Анисима без меня,— сказала Матрена.— Я свалилась в горячке да пять недель и провалялась. Не попала и на суд. Савелий-то оговорил там Поликарпушку, будто тот сам напал на отца. А все

из-за денег проклятых, не хотел, значит, ни с кем делить отцовское наследство.

Теперь Савелий совсем от рук отбился. Верховодит в Куниче всеми хлыстами, то и дело у них сборище собирается, кораблем они его называют, а самого его — кормчим.

— А ты уходи-ка от него к нам в монастырь,— предложила Тикуса.— Будем тут вместе грехи замаливать.

— Внучат жалко, Тикусочка! Они там без меня совсем сгинут среди этих трясунов.

— Ну, как знаешь, зову тебя от всего сердца. А то подумала бы. И дочь рядом будет.

Всего неделю погостила Матрена в Белой Кринице. Как отслужили обедню за упокой души раба божьего убиенного Анисима да еще одну за здравие Поликарпушки, сказала вечером, что поутру домой поедет. День выбрала неудачно: с утра был сильный ветер с дождем. Переждать не хотела ни в какую. Делать нечего, натянули на тарантас брезент и повезли ее в Черновицы. Но доехать сумели только до Каменки. После проливных дождей в Карпатах Сирет вышел из берегов, и теперь его мутные воды все сметали на своем пути. Большой деревянный мост через реку в Каменке еле держался. Подъезды к нему размыло, и лишь смельчаки ухитрялись пройти к нему и перебежать на другой берег.

— Придется нам поворачивать обратно,— сказала Тикуса, показывая на разбушевавшуюся стихию.

— Вы вертайтесь, а я до Глыбоки дойду пешечком — тут рукой подать. А оттуда, небось, доеду. Нечай мостик-то меня выдержит.

— К чему упрямишься, Матрена? Не видишь, настил еле-еле держится? — стала отговаривать ее Тикуса.

— Останьтесь, маменька,— сказала и Анфиса,— не наговорились мы еще. Немножко побудете у нас, потом спокойно вас довезем до Черновиц.

— Да вы, дорогие, не тревожьтеся,— успокаивала их Матрена.— Доеду как-нибудь. Сердце о внучатах изболелось, как подумаешь — ведь они одни без меня средь бесноватых осталися. А мостик? Ну, что же, держался же он до сих пор, даст бог, еще продержится.— Забрав с повозки свою котомку, она стала прощаться.

— Ну, бывайте в здравии, не поминайте лихом.

Обнялись, и она пошла к мосту, а вскоре уже шагала по шаткому его настилу.

— С богом, Матренушка! — кричала ей Тикуса.— Не забывай нас! Да осторожней иди-то!

— Приезжайте еще, маменька! — просила Анфиса.

А мост под Матреной скрипел и качался. Анфиса и Тикуса со страхом смотрели, как маленькую фигурку в черном шатает из стороны в сторону. Усердно шептали они молитвы. Когда Матрена прошла уже более половины моста, он вдруг сдвинулся и поплыл по течению.

— А-а-а! — дико закричала Анфиса, рванувшись к берегу.

— Беги обратно, Матрена! — звала Тикуса.— Быстрей! Да беги же!

Матрена упала, и то ли сил у нее уже не было, то ли она положилась на волю бога, но больше уже не встала.

— Маменька! Маменька! — неистово закричала Анфиса. Она побежала вдоль берега, увязая в грязи, как будто можно было еще догнать и остановить эти старые доски, называвшиеся мостом.

В несколько мгновений мост с треском развалился на части, и Матрена оказалась в воде. Ухватившись за торчавшие из воды перила, какое-то время она еще держалась над бешено мчавшимся потоком. Но вскоре остаток моста с перилами вздыбился, затрещал и рухнул в клокочущую пучину. Матрену подхватило потоком и закружило среди бревен и досок. Но вот голову ее покрыла пена, и она уже больше не появлялась, только дважды мелькнул над водой краешек ее белого платка.

Монахини метались по берегу, зовя на помощь людей. Вскоре мужики притащили лодку и стали искать утопшую, но найти не могли. А через день ее труп случайно зацепили багром рыбаки возле станции Ваду-луй-Вирет. Страшно было глядеть Анфисе на это распухшее от воды, побитое и исцарапанное бревнами тело. Беззвучно плакала она, не веря, что это была ее несчастная мать.

Хоронили утопшую на сельском кладбище Белой Криницы. Из Куничи приехал Савелий с женой и детьми, прибыли родственники из Сучавы и Соколинцев. Савелий так переменился, что его с трудом можно было узнать. Смуглое лицо приобрело серо-желтый оттенок, волосы поредели, щеки запали, и чем-то стал он похож

на Христа, снятого с креста. Глазки его все время неприятно бегали, а руки слегка тряслись. Во время заупокойной литии он стоял, не шелохнувшись, не проронив ни одной слезинки. На поминки остаться не захотел, заторопился домой. Перед отъездом спросил у Анфисы, не отказывается ли она от своей части отцовского наследства.

— Нет, не отказываюсь! — ответила та, как ее предварительно научила Тикуса, внушив ей, что отношение к ней стариц благодаря наследству сразу улучшится.— Я в святую обитель пришла с пустыми руками, а потому должна хотя бы сейчас внести свою долю.

Савелий с ненавистью поглядел на нее и, не простившись, уехал.

Через месяц Анфиса получила письмо от нотариуса из Бельц, который извещал ее о разделе оставшегося после отца имущества и предлагал ей приехать в Куничу.

Ох, как не хотелось ей ворошить прошлое, а пришлось. Целая вечность, казалось ей, прошла с тех пор, как она бежала из дому. Да и она за два года так изменилась, что односельчане не узнавали в бледной и худой монахине некогда веселую и живую гимназистку. Даже племянники испуганно таращили на нее глаза, когда она переступила порог родного дома. Савелий, однако, принял ее ласково и называл, как прежде, Аннушкой.

— Аннушки больше нет, есть сестра Анфиса,— заметила она ему.

— Да ладно тебе, сестрица, ваши попы мне не указ, а из веры вашей я, слава богу, вышел.

В тот же день прибыл в Куничу нотариус и начался раздел имущества. Савелий до хрипоты спорил буквально из-за каждой мелочи. Анфиса же, уступая в мелочах, твердо держалась в главном. В монастыре ей наказали наследства не уступать.

Тогда Савелий понял, что надо действовать как-то иначе. «Если бы ввести ее в корабль,— мечтал он.— Тогда она отказалась бы от своей доли». Ночью он долго не спал, обдумывал это и решил, что начнет с утра добиваться своего.

Как только утром встретились за завтраком, он начал разговор с сестрой. Анфиса его не узнавала. Лицо

брата подобрело, говорил он кротко, тихо. Он уверял ее, что с удовольствием сам отдал бы ей свою долю наследства, чтобы ей лучше в монастыре жилось, но должен заботиться о семье.

— Ведь по моей вере нет разницы между бедными и богатыми. Все мы плывем в одном корабле. Все мы люди божьи.

Анфиса слушала брата и ничего не понимала: какой корабль, какие люди божьи?

— Учение у нас такое, называется Христовым. А в народе наших праведных людей обзывают по неразумению хлыстами. Божьи люди нашего корабля плоть свою непощадно умерщвляют, ибо она есть вместилище всего греховного, оболочка, которая соблазном для души служит. Достигаем этого постом, молитвами и радениями. Вина не пьем — это кровь вражья, всевышним заклейменная, и вообще ничего хмельного не принимаем. Мы пьем пиво духовное, которое питает душу,— трудимся и поем на радениях. От мирских обычаев отстраняемся — свадьбы, похороны, гулянья и прочее не для нас. Тот, кто выполняет все в строгости, достигнет в будущей жизни вечного блаженства, а в этой жизни удоставливается, сестрица, вселения в него святого духа. А все мы составляем один союз братьев и сестер, каждый соблюдает свою чистоту, все почитают друг друга и живут в братской любви.

— Где же вы собираетесь, Савелий, для своих радений?

— В Сионской горнице, милая, идем покажу,— и он повел Анфису в большую комнату, где была когда-то гостиная. Теперь тут было совершенно пусто. Дорогая мебель и вся обстановка куда-то исчезли. Вокруг стен стояли широкие лавки. Все окна были плотно завешаны и закрыты ставнями. Здесь было очень душно, хотя и чисто.

Зашли они и в бывшую моленную. Тут не было ни одной иконы. Вместо них по стенам развешаны какие-то белые балдахины.

— Идолов в доме не держим,— объяснил Савелий, заметив недоумение Анфисы.— Все, что рукотворно, то не свято. Иконы пишут грешные люди, а вы им поклоняетесь. Возьми хоть Поликарпа — расписывал церкви, а убивцем оказался. Священников мы тоже не признаем. Они обманом занимаются и пьют вино, едят мясо, а это

самый настоящий грех. Так справедливо ли, что они, грешники, берутся отпускать грехи и давать благословение? Правда, мы посещаем церковь, чтобы гонений не было на нас, но батюшке свою веру не открываем.

— Кто же службу правит у вас? — удивилась Анфиса.— Уставщик, как у беспоповцев?

— Службу мы правим сами, и святые таинства у нас свои, истинные, по Книге жизни[1] И та Книга жизни никем не писана. Она передается из уст в уста, в точности, без искажения, и в ней главные наши заповеди, которые мы соблюдаем. Сегодня корабль собирается — приходи, познакомишься, сестрица. Только ты должна поклясться, что будешь молчать о том, что увидишь.

— Клятвы запрещены монахине уставом, Савелий.

— Хорошо, я верю тебе, что будешь благоразумна и тайны никому не откроешь, даже в том случае, если откажешься влететь в нашу стаю. За болтовню мы наказываем жестоко.

С неподдельным любопытством пошла Анфиса посмотреть хлыстовские радения и теперь со страхом на все взирала. Ни на минуту ее не покидало чувство, что она присутствует при каком-то святотатстве. Сектанты приходили в дом Савелия поодиночке, самыми неприметными путями, чаще всего через огороды и сады. Многие были из других деревень и сел. При встрече они обнимались и целовались, называли друг друга ласково: Петрушенька, Илюшенька, Иванушка, Меланьюшка, Парасковьюшка...

В сенях и бывшей моленной как мужчины, так и женщины сбрасывали с себя мирскую одежду и одевались в длинные белые холщовые рубахи одного покроя. Савелий попросил Анфису тоже такую надеть, но она наотрез отказалась и сказала, что просто посидит у двери. Переодетые входили в хорошо освещенную Сионскую горницу, где в углу сидела женщина в непонятном белом одеянии. Одно колено ее было обнажено, и все подходили и целовали его. Анфиса поняла, что женщина изображает богородицу. В воздухе стоял запах нагретого воска и пота. Все лица казались девушке мертвенно-белыми.

Вскоре весь корабль был в сборе. Тогда появились

---

[1] *Книгой жизни* хлысты называют совокупность своих преданий.

двенадцать мужчин, тоже в длинных рубахах. Каждый из них изображал одного из апостолов. Все запели: «Дай нам, господи, Исуса Христа!..» И после этого две женщины, изображавшие ангелов, ввели под руки Савелия в белой до пят рубахе, с белым полотнищем через плечо и белым платком в руке. Все пали перед ним на колени и называли его Христом. Он поднял руки вверх, словно готовый вознестись на небо, и стал благословлять собравшихся.

Затем образовали два полукруга от Савелия — в одном были только женщины, в другом — мужчины. Каждый трижды поклонился и перекрестил стоящего напротив обеими руками.

После этого к Савелию подводили по очереди вновь вступающих в корабль. Первого он спросил:

— Зачем ты пришел сюда?

— Душу спасать,— отвечал новичок.

— А кого дашь за себя порукой?

— Самого Христа, царя небесного.

— Смотри, чтобы Христос тобою поруган не был.

Затем обращаемый давал клятву, веру приняв, никогда от нее не отступаться, плоть свою умерщвлять, всячески на благо корабля трудиться, а если случится за святую веру пострадать, то не бояться ни тюрьмы, ни даже смерти.

— Сейчас ангел божий сходит с неба. Он свидетель твоей клятвы,— торжественно возгласил Савелий.

С другими новенькими повторилось то же.

После молитвы корабля за вновь принятых все чинно расселись по лавкам. Кормщик корабля Савелий открыл книгу и прочитал духовные наставления. Одна из женщин завела звучным приятным голосом псалм. Его подхватили присутствующие и, раскачиваясь в такт стали с силой хлопать себя по коленям. Затем пели другие псалмы. Это пение продолжалось долго, почти до полуночи.

Когда часы пробили двенадцать, все запели какую-то молитву. Потом женщины встали в один круг, а мужчины в другой. Запели новую песню и начали радеть: вначале пошли по кругу один за другим, размахивая платками, потом побежали, стали скакать. Пели же все громче. Лица стали красными, возбужденными, по ним заструился пот.

«Что за наваждение,— подумала Анфиса,— уж не

во сне ли я? Так эти бешеные пляски — радения?»

А два хоровода двигались теперь уже с немыслимой скоростью, и движения тел стали безобразными. «Богородица» по-прежнему сидела в углу. Она приговаривала:

— Радейте, радейте, плотей не жалейте, себя не щадите, богу поскачите.

Вдруг пение кончилось, и все, тяжело дыша, расселись по лавкам. Анфиса попыталась выскочить из комнаты, но какой-то мужик в дверях раскрыл руки и не пустил ее.

— Эй, вы, братья во Христе, порадейте-ка! — выкрикнул кормщик.— Меня, Христа-бога, поутешайте-ка, мою матерь, богородицу, порадуйте!

«Божьи люди» сорвались со своих мест и стали во «святой круг». Кормщик был в середине круга. Быстро начали кружиться с новой песней, потом еще быстрей и еще... Белые рубахи на них надувались, как паруса, свечи стали гаснуть. Анфиса пыталась разобраться в многоголосом бормотании, которым сменилось пение: «Ой бог! Ой дух! Свет во мне, свет во мне!» — дошло до ее слуха.

— Свят дух, приди, накати! — кричал кто-то.

Были такие, что падали без сознания, но, придя в себя, продолжали «радеть».

А верчение и кружение становилось все сильнее. Несколько мужчин рыдали, рвали на себе волосы, другие кусались. Рубахи у всех стали мокрыми от пота. Анфисе почудилось, что от криков и стонов у нее вспухла голова. Она почувствовала тошноту и была близка к обмороку.

— Накатил, накатил! — услышала она вопль.

Все с криками восторга и визгами устремились к одной из женщин, которая с пеной у рта корчилась на полу, закатив глаза.

— Еще пива! — закричал кормщик.

Все стали вокруг женщины бешено скакать, иные стегали себя ремнями. Двух женщин вырвало, отчего пол стал скользким и некоторые падали и сильно расшибались.

Еще двое мужчин забились в судорогах на полу, на них тоже накатил «святой дух».

Первой очнулась женщина. Все смолкли, и она начала «пророчествовать»:

— Вот вам бога сказ, от святого духа наказ...— Дальше была невообразимая чепуха.

Очнувшиеся мужчины стали «глаголить от имени бога» в свою очередь. Чувство ужаса и отвращения, владевшее Анфисой, достигло предела. Увидев, что мужика у двери уже нет, она, никем не замеченная, выскользнула в коридор и, задыхаясь, с комком в горле, бросилась в свою комнату.

Наутро чужих в доме уже не было. За завтраком Савелий спросил:

— Ну, сестрица, освятила ли ты свою душу в нашем корабле? Поняла ли, *что* есть святая тайна, которая только избранных касается своим крылом?

Анфиса невесело покачала головой.

— Какая-такая тайна, Савелий? Безумие все это! Как ты не понимаешь?

— Потому ты так и говоришь, что не отведала нашего пива духовного, сокровенного не спознала. Прежде чем прийти на радение, мы долгим постом себя изнуряли, очистились, и потому вчера был настоящий праздник. Дух святой сошел на лучших из лучших. Приди к нам, и ты узнаешь эту неземную радость тоже.

— А тебе не кажется, что ты и весь корабль ваш можете заблуждаться, быть на ложном пути? Нет, Савелий, уволь. Если уж я не нахожу святости в нашей древней вере...

— Так как же это тебя еще из обители не выгнали? — насмешливо перебил он.

— Никому там особенно нет до меня дела. Живу и живу. С Тикусой и то не делюсь этими своими думами. Извини, Савелий, но скажу честно — ваши обряды для меня просто дикость. Допустим, вы по-особому верите в бога, но зачем, скажи, беснуетесь? Образа отринули, а друг другу поклоны бьете и при том считаете себя лучше других и этим упиваетесь?

— Чтобы понять нас, надо хоть раз досыта напиться нашего пива духовного. Напрасно не идешь к нам, Анна. Не раз бывало, что иноки в тот или иной корабль приходили, к праведной вере обращались.

— Нет! — твердо сказала сестра.— Все это безумие, и ты меня не уговаривай.

Угрюмым стало лицо сектанта. Злобно стрельнули маленькие глазки в сторону Анфисы.

— Погоди,— жестко сказал он,— еще будешь кусать локти, что не осталась с нами и не стала близка богу.— Потом, сделав паузу, добавил: — О нас, смотри, помалкивай, не забудь, что говорил.

— Не сомневайся,— Анфиса брезгливо отвернулась.

Через день со всеми формальностями, связанными с разделом наследства, она покончила и уехала из Куничи. Провожать ее брат не пошёл.

Деньги, привезенные Анфисой, сделали монахинь добрее к ней, но не трогали ее ни заискивающие улыбки сестер, ни деланая приветливость матушек. Она слишком хорошо уже знала цену их доброты. Тикуса же была очень довольна. К ней тоже стали относиться лучше, благодаря тому, что племянница пополнила монастырскую кассу. Им уже не приходилось за вечерним чаем горестно обсуждать наветы и злые выпады матушек. Теперь они чаще говорили о древнерусской вере. Анфиса рассказала тетке о своем знакомстве с хлыстами.

— Хлысты, милая, секта зловредная,— заметила старушка.

— Да уж правда. Но меня занимает, Тикусочка, больше всего вот что: почему каждый свою веру превозносит, а другие отвергает и почему господь допускает такие различия и вражду? Хотела бы я поговорить с владыкой, да не решаюсь. Уж очень он переменчив: то улыбчив, добр, а то вдруг из себя выходит.

— Ты, маков цвет, не думай, о других. Ты рождена и росла в нашей вере, ее и держись крепко и не думай сумневаться: она единственно истинная. Видно, вам в гимназии головы-то забили чем не надо, что тебя иногда в сторону клонит. Наша вера на старых обычаях, благолепии и воздержании держится. Погляди, как священноинок Геронтий службу правит. Так и чувствуешь, как твоя душа с богом сближается. Он и другим пример подает своим воздержанием, кротостью и смирением перед всевышним. Я слышала, митрополит Пафнутий хочет осенью собор созвать, чтобы священноинока в епископы посвятить и своим преемником определить.

* * *

Раз поздним вечером, когда в соборе только что закончилась вечерняя служба, ворвались туда трое парней. Матушка Тикуса в то время находилась в ризнице. Там же снимал с себя ризу священноинок Геронтий.

Анфиса со своими певчими стояла еще на клиросе, а соборные матушки тушили лампады и свечи. Быстро заперев на засов двери храма, неизвестные вскинули ружья. Певчие и старицы завизжали от страха, забегали по церкви. Но парни согнали их в один угол и угрозами заставили замолчать.

Услышав шум, из алтаря выглянул священноинок.

— Его-то нам и нужно, ребята! — крикнул один из ворвавшихся в храм, и все трое побежали к алтарю. Геронтий, однако, успел сбить с ног одного из парней и закрыться с матушкой Тикусой в ризнице. Сколько ни ломились туда грабители, но окованная железом дубовая дверь не поддавалась.

Тогда, разграбив алтарь, неизвестные снова вернулись в храм, опустошили там церковные кружки, посодрали дорогие оклады с икон и ушли. Перепуганные монахини долго еще не могли прийти в себя.

В то время как неизвестные бесчинствовали в храме, перед вратами мужской обители остановился старец с длинной бородой. Тихим, чуть слышным голосом он произнес молитву и постучал в окошко привратника.

— Что тебе, отец, надобно? — спросил тот пришельца.

— Ох, родименький, с Дуная, из Вилкова я иду. Преставился там миллионщик Сухоруков и поручил он мне перед смертью из рук в руки передать владыке свои сокровища,— и странник показал на свою суму.

— Проходи с богом,— впустил его привратник.

Прошел старик в митрополичьи покои и, помолившись там на образа, приветствовал монахов.

— Мир дому сему!

— Садись, старче. Что скажешь, с чем пожаловал?

— Преставился раб божий Сергей Левонтьевич Сухоруков,— начал он.— Приказал мне перед смертью передать владыке свои сокровища, чтобы по вашим монастырям замаливали его грехи.— И старик снова выразительно посмотрел на свою суму.

Монахи вызвали секретаря, и тот доложил о пришельце владыке. Странника провели к митрополиту, и сразу же завязалась у них беседа.

Тогда же к привратнику подошли еще два «странника». Они сказали, что ждут своего товарища. Когда привратник вышел к ним побеседовать, они в одно мгно-

венье скрутили ему руки и затолкали в рот мешковину. После того в мужскую обитель ворвалась целая ватага грабителей. Они быстро связали захваченных врасплох монахов и ворвались в митрополичьи покои. Владыка попытался было закрыть двери своей комнаты, но представившийся сухоруковским посланцем старик сорвал с себя приклеенную бороду, оказавшись молодым парнем, и направил на владыку ружье, взяв его у одного из налетчиков.

Лишь казначею, настоятелю монастыря да небольшому числу соборных старцев посчастливилось закрыться в храме, чем и были спасены монастырские и митрополичьи ценности.

— Про богатства ваши, святой отец, мы наслышаны, а потому — деньги на бочку! — приказал парень.— Мы, как и ты, до чужих сокровищ охочи. Ха-ха-ха!

— Изыди, сатана! Вон ступай, богохульник, нет у меня ничего!

— Так уж и нет ничего? Брось-ка ты, святой отец, дурака валять, прикажи-ка выдать нам монастырскую и митрополичью казну, а не то мы тебя прежде времени отправим в царствие небесное.

— Смерть мученическую почту за счастье,— ответил митрополит,— но получить вы ничего не сможете.

— Да что ты, Васька, с ним время теряешь! — закричали бандиты.— Пристукни его, и делу конец!

— Не... а, я из него сперва капиталы вытяну. А ну, братцы, поджигайте ему бороду!

Один из парней чиркнул спичкой и поднес ее к бороде владыки. Но борода не загорелась.

— Ты что, не знаешь, как бороды жечь? — заорал тот, которого называли Васькой.— Давай сюда свечу!

От свечи борода вспыхнула, и владыка взревел от боли. Он отшвырнул от себя державших его бандитов и схватил за горло их вожака. Но в это время сильный удар по голове свалил его на пол.

— Обыскивай! — приказал Васька.— Крест на нем золотой, забирай!

— Ключи! — воскликнул один из бандитов радостно.

— В таком разе лей на него воду,— приказал Васька.— Пусть очухается, побеседуем маленько.

На владыку вылили ведро воды, и он открыл глаза. Он попытался встать, но тут же снова был сбит с ног.

— Говори, откуда эти ключи? Где у вас все запрятано?

— Ключи от погребов и сараев,— соврал владыка.

— Не дураков нашел, божий ублюдок, не таковские мы, чтоб поверить сей басенке. Давай не тяни волынку, говори, откуда ключи! — И Васька замахнулся на владыку ножом.

— Не верите — ваше дело. Больше мне сказать нечего.— Владыка сложил пальцы для крестного знамения. Васька зло полоснул по ним ножом. Кровь брызнула фонтаном.

— Будьте вы на веки веков прокляты! — взревел митрополит и плюнул на своих мучителей.

— Нет, шалишь, святой, все скажешь! А ну, дери с него шкуру,— распорядился Васька.

Один из бандитов вонзил нож в спину владыке. В этот момент на колокольне кафедрального собора ударили в набат. С улицы донесся свист, и шайка, бросив полуживого митрополита, устремилась во двор.

— Тикайте на конюшню! — скомандовал Васька.— Забирайте лошадей и гоните в лес. Кому не достанется — топай ногами. Сбор, где всегда.

Через несколько минут из села к обители уже сбежались услышавшие набатный призыв мужики. Они стучали в ворота, но им никто не открывал. Наконец, кто-то открыл дверь сторожки и заметил связанного привратника, и мужики полезли через ограду. Однако бандитов уже и след простыл. Они ушли из монастыря через хозяйственный двор.

Не раз любители легкой наживы зарились на добро белокриницких монастырей. Первое нападение на мужскую обитель было совершено вскоре после ее основания, в 1791 году. Тогда, защищая казну, погиб один из монахов. Затем такие набеги неоднократно повторялись. Дважды грабили монастыри и митрополию во время первой мировой войны. Особенно неспокойно стало в последние годы. Нет-нет да и очистят ночью церковь или отберут деньги у казначеев, уведут скот или заберутся в кладовые. Но такого дерзкого налета еще не было.

Конечно, как всегда, и теперь основные монастырские и митрополичьи ценности сохранялись в надежных местах. Но все же ущерб был нанесен немалый. Главное же — тяжело пострадал сам владыка.

Местный жандармский пост о бандитском налете на

монастырь сообщил в Черновицы, и оттуда немедленно прибыл отряд полевой жандармерии. Началась проческа всех окрестных лесов.

Уже на другой день возле Красноильска[1] задержали подозрительного парня. После допроса под угрозой расстрела он признался, что ходил в село за водкой для шайки Васьки Макарова, и повел жандармов к ее логову.

Это логово укрывалось в лесной балке, заросшей кустарником. Там рядом с пещерой находилось несколько шалашей. Жандармы подошли бесшумно. Не ожидавшие опасности бандиты сидели у костра и пьянствовали. Их окружили и предложили сдаться. Тем не менее Васька и еще несколько человек побежали по дну балки. Но на их пути была засада. Открылась стрельба. Из всей шайки в живых осталось человек пять, но и те были ранены. Атамана убили.

На следующий день живых и мертвых привезли в Белую Криницу вместе с награбленным монастырским добром. Владыка и монахи опознали грабителей. Да и те не отпирались от содеянного. После этого убитых похоронили за сельским кладбищем, а живых увезли в черновицкую тюрьму.

Хотя грабители и были пойманы, а добро возвращено митрополии, горести и неприятности на этом не кончились. Тяжело занемог после пыток и издевательств митрополит Пафнутий. Живого места на нем не было, раны его не заживали, обожженное лицо распухло и покрылось черными корками. Матушка Тикуса, забросив свои дела, день и ночь сидела у его постели.

В обители и по селу расползлись слухи, казалось, самые невероятные: будто бы на суд была вызвана мать главаря банды Васьки Макарова и показала там, что отцом Васьки является священноинок Геронтий.

— Неужели это правда, Тикусочка? — допытывалась Анфиса, когда тетка вернулась с процесса из Черновиц.

Экономка долго мялась, но потом все же сказала:

— К сожалению, правда. Этого не отрицал на суде и сам Геронтий. Но об этом, смотри, никому ни слова. Дело-то было так. В ту пору как Геронтий еще в по-

---

[1] *Красноильск* — село в Сторожинецком районе Черновицкой области УССР.

слушниках ходил и звали его не Геронтием, а Гришей, был он совсем еще молод, а уж как пригож! И повадилась к нам на моления некая девица из соседнего села. Назвалась Евдокией. И эта-то Евдокия возьми да и влюбись в нашего послушника. Дело молодое известное — стали они встречаться.

Однажды в ночь под светлое воскресение[1], когда в храмах многолюдье было и все священство вело службу, послушник ушел со всенощной[2] на свидание к этой девице. И того не заметили — разве за всеми в такой момент уследишь? В ту ночь их бес и попутал.

Опомнился после этого послушник, понял, какой большой грех совершил, и стал умолять Евдокию избавиться от греховного плода. Но она ни в какую, стала даже требовать, чтобы он покинул монастырь и пошел вместе с ней в ее село, чтоб там жить. Пришлось послушнику откупиться. Из того, что оставил ему отец, дал он Евдокии денег и золота. Она уехала в Бельцы и открыла там шинок на самом бойком месте, возле Кишиневского моста.

А потом у нее родился сын, которого она назвала Василием. Рос мальчишка возле матери в шинке. Каких он только мерзостей там не навидался да не наслушался! При нем ругались, дрались, совершали сделки темные, распутничали. В шестнадцать лет это был уже опытный негодяй — очищал у посетителей карманы, а переливших и раздевал. А чтобы люди дурели быстрей от напитков матери, добавлял он в них всякое зелье, не гнушаясь и настойками табака. Опасен был Васька еще и тем, что унаследовал он от отца высокий рост, силу и красоту. Немало добропорядочных девушек попало потом в его сети. Но, как говорят, сколько веревочке ни виться, конец будет. Поймали Ваську на каком-то деле и посадили в тюрьму. Года через полтора он вышел оттуда, а уж был готов на все — убить так убить, украсть так украсть. Вскорости сколотил Васька небольшую шайку и стал с ней рыскать по всей округе, а покутить ездил в Бухарест и Яссы. Нигде подолгу не задерживался и потому для полиции буквально неуловим стал. К матери он наведывался не часто: когда надо было награбленное припря-

---

[1] *Светлое воскресение* — имеется в виду первый день пасхи.

[2] *Всенощная* — церковная служба, в состав которой входят вечерня и утреня.

тать иль отдохнуть. И вот как-то приехал к ней, а пьяная шинкарка проболталась невзначай об отце. Васька тут же захотел повидать его и отправился в Белую Криницу.

Пришел он к священноиноку Геронтию на исповедь и стал рассказывать ему о своих прегрешениях. Рассказывал, как грабил и убивал, как зло чинил повсюду. Геронтий отказался ему грехи отпускать. Тогда-то Васька и заявил, что он его сын. Священноинок ответил, что такого не может быть, ибо его жизнь безбрачна и непорочна. К тому времени он действительно уже забыл о Евдокии и о том, что у него с ней было. Тогда Васька напомнил ему о связи с некой девицей. Вот, говорит, и родился у нее, как вы и боялись, тать и разбойник. Снял Геронтий покрывало с Васькиной головы и отшатнулся. Лицо у Васьки было — ну в точности отцовское. Будто себя молодым священноинок встретил. Понял он тогда, в какую глубокую пропасть угодил. Стал умолять сына, чтоб тот ушел и не приходил бы никогда больше. А Васька ни в какую. Зачем, говорит, гнать родного сына, столько лет он был лишен отцовской ласки. Геронтий это так понял, что Васька немедленной ласки требует. Оглянулся — не смотрит ли кто на них — обнял его и поцеловал. Думал, не смягчится ли его сердце. А разбойнику что? Засмеялся он, да так еще зловеще... Меня, мол, такие ласки не устраивают. Дал понять, что ценности ему нужны. Геронтий все, что имел при себе, отдал. Васька снял с него и золотой крест. Смолчал Геронтий. Уходя, Васька заявил, что будет время от времени наведываться. С тех пор Геронтий жил вечно в страхе: Васька в любой момент в монастыре мог появиться. Ему бы заявить в полицию, а он смолчал, не хотелось свой грех напоказ выставлять, все надеялся, что где-нибудь Васька и так попадется в полицейские руки.

Ты, верно, заметила, что последнее время Геронтий особенно много времени проводил в молениях. Это он грехи свои замаливал. А Васька тем временем занимался грабежами. И пришла ему однажды шальная мысль — ограбить монастырь, в котором живет его отец.

Помнишь, как ворвались они к нам в собор? Геронтий его сразу узнал и закрылся со мной в ризнице. Мне, однако же, ничего не сказал, что за грабители. Васька же направился под видом сухоруковского посланца к владыке. А остальное ты знаешь.

На суде, голубь ты мой, мы узнали, что три недели бандиты готовились в Красноильском лесу к грабежу этому. Изучили весь наш распорядок и решили, что лучше всего сотворить свое безбожное дело, когда вечерняя служба кончится и монахи начнут расходиться по своим кельям. Как видишь, маков цвет, грехи наши не всегда замолить можно. Сколько лет Геронтий жил в неведении, а расплата за грех молодости все же нашла его. Ладно бы только ему плохо было, но ведь владыка пострадал жестоко. И из-за кого? Из-за того, кого, как сына родного, любил.

В один из тех ранних весенних дней, когда уже сошел снег с полей, а по утрам и вечерам землю еще сковывали заморозки, в обители стало известно, что от станции Ваду-луй-Сирет к Белой Кринице ползет какая-то грешница. Именно ползет, а не ногами передвигается. Сошла она там с поезда утром и к вечеру уже была в Белой Кринице. Поглядеть на нее вышли не только жители села, но и монахи. Вскоре в ней кто-то узнал шинкарку Евдокию — мать убитого предводителя шайки. Весть эта тут же разнеслась по селу, и вслед Евдокии, ползущей по сельской улице, неслись насмешки и злые слова. Несчастная покорно их сносила, а подаяния сердобольных людей не принимала.

На нее было страшно глядеть: ноги и руки изранены, лицо расцарапано, одежда порвана. Бывало, говорили, и раньше, что большие грешники подвергали себя такому истязанию, но делали они это чаще всего летом, а не по холодной весенней погоде добирались таким образом до божьего пристанища.

Когда женщина доползла до монастырской ограды, ворота были уже наглухо закрыты. После бандитского налета их стали закрывать сразу же после захода солнца, с цепей спускали собак, а во двор выходили дежурить иноки и инокини с колотушками. Страх перед возможным налетом усиливался еще тем, что однажды ночью на могиле атамана шайки появился огромный дубовый крест. Монахи его спилили и сожгли. Но вскоре на том же месте появился новый, точно такой же. Этот крест трогать побоялись, так как ходила молва, что не все бандиты из Васькиной шайки выловлены и оставшиеся бродят по лесам. Поговаривали, будто эти кресты —

дело рук священноинока Геронтия, хотя если подумать — до таких ли дел ему было? Он очень тяжело переживал происшедшее, сильно похудел, день и ночь проводил в молитвах.

— Пустите! Пустите! — стала кричать Евдокия и изо всех сил стучать кулаками в железную обивку ворот. Но никто не отзывался.

Около ворот стала собираться толпа из местных жителей и пришедших в Белую Криницу богомольцев. Одни из них посмеивались над матерью преступника, другие сочувствовали полураздетой женщине, имевшей жалкий вид.

— Люди добрые, они меня не пускают ко владыке на покаяние,— с надрывом жаловалась Евдокия,— потому что мой сын, Васька-разбойник, рожден от их монаха.

— Яблоко от яблони далеко не падает,— послышалось в толпе.

— Он соблазнил меня под светлое воскресение, он обманул меня! Он не платил мне на его воспитание! Кем же мог вырасти безотцовщина?

В толпе послышались смешки и возгласы недовольства — на монаха сердились. Тогда ворота приоткрылись, и из них вышел в сопровождении соборных старцев настоятель мужского монастыря. Он стал увещевать Евдокию уйти от обители, предлагал прийти завтра на покаяние, но не к больному владыке. Терпеливо объяснял он, что владыка после варварских истязаний тяжело занемог. Но Евдокия не слушала его, твердила свое, виня монахов в том, что они, закрывшись в монастыре, свою утробу тешат, а к исстрадавшейся ее душе, жаждущей покаяния, сочувствия не имеют.

Настоятель, видя, что разговор бесполезен, ушел. Евдокия снова стала барабанить в калитку. Наконец эта картина всем надоела, и толпа разошлась. Женщина не успокоилась, и ее вопли раздавались всю ночь. Большинство в монастыре не сомкнуло глаз.

Утром привратник, открыв ворота, остолбенел от ужаса. На перекладине ворот болталась в петле обнаженная Евдокия. Монах, схватив било, стал по нему колотить, сзывая братьев.

— Что там еще такое? — сердито спросил заспанный настоятель.

— Проклятая баба повесилась на наших воротах,— ответили ему, показывая на перекладину.

Настоятель перекрестился и велел тут же бежать за полицейским приставом. У ворот опять стала собираться толпа. Послышались выкрики и угрозы в адрес монахов, женские рыдания.

— Р-разойдись! — приказал подоспевший пристав.

Кончилось все тем, что был составлен акт о самоубийстве и мертвое тело увезли в телеге из Белой Криницы.

В тот же день вечером, тоже на простой телеге, устланной соломой, предстояло уехать из Белой Криницы в городок Вилково священноиноку Геронтию. Из Вилкова он должен был переправиться в мужской монастырь на острове Песчаном, что в дельте Дуная. Согласно монастырскому уставу, «подвергшийся плотскому падению, сиречь естественному или даже чрезъестественному блудодеянию, не причащается святых таинств от 7 до 15 лет», то есть на этот срок человек отстраняется от монашества. Митрополит Пафнутий и тут для своего любимца сделал снисхождение и ссылал его замаливать свои грехи в отдаленный монастырь всего на пять лет.

Нелегко было решиться владыке на такой шаг. Он не был уверен, что сможет подняться, и горько ему было оставаться теперь без близкого человека и преемника. Но обстоятельства были таковы, что не наказать Геронтия он не мог. Известный, но не прощенный и не замоленный грех во сто крат хуже скрытого. Владыка рассчитывал, что после отбывания ссылки прощенного Геронтия снова можно будет произвести в священный сан. Все понимали, что любой другой митрополит поступил бы с Геронтием более круто. Эти двое людей любили друг друга, ценили один в другом достоинства, прощали слабости. Они чувствовали оба, что случилось непоправимое.

Когда все уже было готово к отъезду, владыка приказал пригласить Геронтия к себе. Сам он был уже плох. В соседней комнате без перерыва читались о его здравии молитвы. Каждый день ездили из Черновиц врачи.

Когда Геронтий вошел в комнату владыки, он не узнал своего покровителя. Перед ним на высоких подушках лежал задыхающийся старик с желтым отечным лицом, с тусклым взглядом.

Священноинок упал у постели владыки на колени и зарыдал Больной шептал посиневшими губами молитвы. Потом он с трудом положил на голову Геронтия здоровую руку

— Владыка святый, отец мой духовный, прости своего грешного и заблудшего сына. Горше всего мне оттого, что через меня принял ты всю эту муку. Но клянусь тебе, что не было никогда у меня злого помысла. Покуда был зелен, одолевали меня, бывало, страсти. И как со мной такое вышло, ума не приложу... Лишиться бы мне естества своего.

— Лишение естества, сиречь оскопление, грех незамолимый, а у тебя еще есть путь, чтобы спастись и получить прощение,— с трудом раздвигая губы, произнес владыка.

— Только твое прощение нужно мне, владыка святый. Накажи тюрьмой, накажи каторгой, но не держи на меня сердца. Погубил я тебя, и нет мне теперь покаяния!

Молчал владыка, не шелохнулся, только губы его что-то неслышно шептали. Геронтий лобызал ему руку по лицу его текли слезы.

— Ладно, встань, чадо мое,— кротко и с любовью сказал слабым голосом митрополит Пафнутий.— Без греха только бог. Понимаю тебя и прощаю. И свидетельствую то перед богом, ибо сие есть только плотское падение, а оно менее еретического, и не исключено, что после покаяния душа твоя может даже возвыситься Прощаю тебя, сын мой, и ты прости меня. Больше мы не увидимся: сдается мне, дни мои сочтены. Как подумаю, что не ты после меня митрополию возглавишь, боюсь впасть в грех отчаяния. А оставить тебя я не волен: люди не простят. Ступай в дунайскую обитель и укрощай себя в молитве и труде праведном. Тамошнему настоятелю передашь, что я повелел снять с тебя епитимью через три года. Станешь затем снова священноиноком. Через пять лет сюда возвратишься и примешь...

Владыка стал сильнее задыхаться, говорить ему было уже совсем трудно.

— Все выполню, владыка святый, денно и нощно буду молиться о твоем здоровье.— Геронтий припал к руке Пафнутия.

— А теперь позови настоятеля и Тикусу, - попросил владыка.

Когда вошли игумен и экономка, он объявил им свою последнюю волю в отношении Геронтия.

— Завтра, игумен, запишешь это в моем завещании. И еще запиши: все, что после меня останется,— завещаю отцу Геронтию. Хранить все будешь до его возвращения. И еще запомни: он, только он, должен взять в руки нашу церковь и повести ее через бурное море, в котором мы оказались.

Когда Тикуса с настоятелем удалились, владыка сказал Геронтию:

— Прощай, сын мой, гнева не держу и зла не помню. Мир да пребудет в душе твоей,— он поцеловал его запекшимися губами в лоб.

Неслышными шагами священноинок покинул комнату. Когда через несколько минут он сел в подводу, горло ему сжали спазмы и он впервые почувствовал боль в сердце.

Еще сутки промаялся митрополит Пафнутий, а потом, с трудом подписав завещание, впал в беспамятство. Доктора из Сучавы и Черновиц собрались на консилиум. В своем мнении они были единодушны. «Нет такого лекарства, чтобы помочь владыке,— заявили они монахам.— Ему остались считанные часы».

На другой день траурный перезвон колоколов всех белокриницких церквей известил старообрядцев о кончине высокопреосвященного митрополита Пафнутия. И поднялись по монастырям горестные стоны и плач, и потянулись в Белую Криницу со всех концов ревнители древлего благочестия.

Гроб установили в кафедральном Покровском соборе. На голову владыки положили бумажный венец дониконовской московской печати с осьмиконечным крестом, тело накрыли черным бархатом. Вокруг гроба зажгли душистые свечи, в храме непрерывно кадили ладаном. Иноки и инокини, сменяя друг друга, день и ночь читали у гроба псалтырь, а певчие круглосуточно тянули погребальный канон.

В храме было смрадно, нечем дышать, от тела владыки шел тяжелый дух. Некоторые сестры не выдерживали и падали в обморок. Однако епископы, приехавшие из разных епархий, стояли у гроба терпеливо, не шелохнувшись. Не было среди них только представителей Московской архиепископии: с Рогожским кладбищем уже давно не поддерживалось никаких связей.

В пятом часу дня митрополита Пафнутия схоронили на погосте мужского монастыря.

* * *

Через три дня белокриницкие колокола известили старообрядчество о другой новости: освященным собором был избран новый митрополит. Им стал Силуян — бывший епископ Кишиневский и Измаильский. Еще в первые годы оккупации он сумел войти в доверие к румынским властям своей ненавистью к большевизму, и теперь по их настоянию стал преемником Пафнутия. Простоватый с виду, невзрачный, он любил, однако, пышные одежды и пышные богослужения, любил, чтобы ему поклонялись и перед ним заискивали.

При новом митрополите и порядки завелись новые. Первым делом удалил он из Белой Криницы неугодных ему святителей[1] А чтобы это не вызвало нежелательных толков, создал новые епископии в таких далеких странах, как Корея, Канада и Индия, куда и были высланы святители. Жестоко поплатились те, кто был его противниками при прежнем владыке. Многие из них остались без места или пошли в отдаленные приходы с большим понижением. Жизнь в обителях стала более суровой.

Однажды зашел митрополит в библиотеку и был удивлен, что ею ведает инокиня. Распорядился освободить Анфису от этого, а Никодима вернуть на прежнее место.

— У головщицы есть свое дело, а при книгах должен быть инок,— строго сказал он игуменье Поликсении.— Присутствие сестры здесь только соблазн для братии.

Митрополит понимал, что полностью выйти из кризиса, в который старообрядчество попало после установления Советской власти в России, не удастся. Но укрепить митрополию как старообрядческий центр он считал возможным и необходимым. Белая Криница оказалась в тяжелом положении. Она находилась фактически в изоляции. Не стало богатых русских купцов-благодетелей, прекратились подачки, и митрополичья казна оскудела. Храмы потеряли свой прежний вид и требовали ремонта. Все меньше народу посещало монастыри. К своей цели владыка стремился, водя хлеб-соль с буржуазными тузами Румынии, поддержи-

[1] *Святитель* — священноначальник, архиерей, епископ.

вая особые отношения с королевским двором, посылая от имени митрополии верноподданнические послания, поздравления с праздниками и именинами королю и королеве. Очень скоро он почувствовал, что в убытке не останется и своего достигнет.

— В мире, где воцарился антихрист, мы должны всеми силами блюсти интересы митрополии,— призывал митрополит.— Из-за Советов много худой славы о русском народе ходит по свету, и нам следует быть особенно осторожными, не поддаваться ни на какие обманные вести, которые дойдут до нас с русской земли от наших врагов, кои именуют себя большевиками.

С одной стороны, Силуян наказывал строго придерживаться традиционной изолированности старообрядческих общин от окружающей их среды, а с другой — всячески одобрять и поддерживать действия румынских властей.

Таким образом, глава Белокриницкой митрополии с самого начала был в числе непримиримых врагов Советского государства. Сообразуясь с обстоятельствами, он ориентировался на растущую антисоветскую пропаганду и неоднократно в своих выступлениях перед духовенством и верующими слал проклятия на большевиков.

Когда 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу и началась вторая мировая война, митрополит втайне радовался этому, надеясь, что в войну будет втянута и Советская страна и что там благодаря войне будет свергнута ненавистная ему власть. Однако высказывать эти мысли вслух, когда от фашистского ворога каждый день погибали тысячи поляков, он все же не решался.

Вскоре многочисленные потоки беженцев из Польши устремились в Румынию. На этом пути их первым пристанищем была Буковина. Среди тех, кто спасался от фашистов, были и старообрядцы. Они немало рассказывали о зверствах гитлеровцев, однако Силуяна это не трогало.

В середине сентября Красная Армия вошла в западные районы Украины и Белоруссии. Это вызвало ужас у митрополита. Советские войска были теперь совсем близко и могли вот-вот появиться на Буковине. В конце сентября война с Польшей была уже закончена и линия огня переместилась на запад. В эти дни в митрополии готовились к празднику Воздвижения.

Когда праздник наступил, копию животворного креста господня, по преданию, найденного византийской царицей Еленой, во время церковной службы торжественно внесли на середину собора, и Силуян обратился к верующим с речью:

— Тяжкие испытания ждут нас, братия и сестры. Огненный смерч катится сюда с востока. Нечестивый хочет воцариться и на нашей святой земле...

Его слова на другой же день попали во все реакционные румынские газеты, которые кричали: «Русский митрополит предупреждает о красной опасности!»

Но не все старообрядцы и их пастыри были согласны с позицией, занятой главой Белокриницкой церкви. Для многих из них Россия по-прежнему оставалась Родиной. Силуян был недоволен: это грозило разбродом. Он лихорадочно искал пути для сплочения всех старообрядцев под своим началом и готов был пойти на любые средства, чтобы найти их.

* * *

В один из зимних вечеров сестры работали под присмотром матушки Тикусы в келарне. Вдруг звякнуло в дверях железное кольцо, и на пороге в сопровождении привратницы показались два странника.

— Не побрезгуйте, матушка, выслушать беглецов, вырвавшихся из лап самого антихриста,— сказали они после молитвы и поклонов.

— Неужто из Варшавы? — удивилась Тикуса, вспомнив рассказы беженцев.

— Антихрист владычествует не на западе, а на востоке, матушка Тикуса,— заявил один из пришельцев, чье лицо показалось экономке знакомым.

— Откуда ты знаешь мое имя?

— Ай-яй-яй, неужто забыла приказчика ваших благодетелей Ольги Алексеевны и Глеба Степановича Овсянниковых? А ведь сколько капиталов вложили добрые люди в Белую Криницу, какой храм отгрохали!

— Неужто Пашка? — еще более удивилась экономка, не выказывая особенной радости.— Господи Исусе Христе, помилуй нас, откуда ты взялся?

— Про то, зачем и откуда прибыл, могу рассказать только с глазу на глаз,— и Пашка оглядел монахинь, сидевших на лавках с рукоделием.

— Не вправе я сама тебя выслушивать,— отказа-

лась Тикуса.— Сейчас пошлю за игуменьей.— И она отпустила сестер, послав одну за матушкой Поликсенией.

Странники продолжали стоять, переминаясь с ноги на ногу, но матушка Тикуса не приглашала их присесть, считая появление мужчин в обители, да еще в такой поздний час, непозволительным. Вскоре в келарню пришла игуменья в сопровождении матушек Касьянии и Феофании.

Гости снова положили метания и поздоровались.

— Узнала ли, матушка, овсянниковского приказчика? — спросил Пашка.

— Как же, как же, Пашенька, хотя и долгонько тебя не видела, а признала, как не признать.

— Господа ради, сокрой нас, грешных, боголюбивая матушка, в своей обители,— попросил жалобным голосом Пашка.— Бежали мы от красных из России, так ты уж не откажи в приюте.

— Всей душой бы рада, Пашенька, да ведь у нас обитель женская. Прости уж ты меня, мил человек.

— Куда же нам податься-то, матушка?

— Приют мы вам найдем, сердечные, об этом не беспокойтесь. Тикусочка, распорядись-ка насчет самоварчика. Непогодь-то какая, люди, поди, промерзли.

За чаем Поликсения выспрашивала, откуда и как гости прибыли, что с ними приключилось.

— С Советами мы жили, матушка, с Советами. Ох, тяжкое житье! Пропала Россеюшка, тьмой покрылась. Людей самых что ни на есть лучших там заковали да по этапу пустили.

— Кого, кого заковали-то? — спросила Тикуса.

— Да вот хотя бы Ольгу Алексеевну. Как в незапамятные времена боярыню Морозову, выслали ее в далекую Сибирь. И я с нею, как верный слуга, туда же отправился. Попутчик мой тоже навидался всякого, с трудом казни избежал.

— Я помню из разговора с покойным митрополитом Пафнутием, будто бы ему писали, что Ольга Алексеевна преставилась в Москве,— возразила экономка.

— Видишь ли, матушка, Ольга Алексеевна и в самом деле была почти что при смерти после того, как у нее капиталы большевики отобрали. Но с божьей помощью она все же поправилась, хотя многие этого так и не узнали. Уж вы мне верьте. Отсохни у меня язык, коли вру. Поселились, значит, мы с ней в сибирских лесах. Я из-

бушку своими руками срубил, всякую обслугу[1] для Ольги Алексеевны делал, ублажать ее старался после всех ее горестей. А нынче летом она говорит мне: «Ступай, Паша, в Белую Криницу и расскажи там про нашу нужду, может, чем помогут нам, горемычным».

— Поможем, поможем, а то как же,— прослезилась Поликсения, а за ней и ее сестры.— Завтра же доложу о тебе владыке, и он в помощи, верно, не откажет.

— Святое дело ты сотворишь, матушка.

— Ты, Тикусочка, уложи-ка на сегодняшнюю ночь странников в келарне, бог простит нас за это,— распорядилась Поликсения.— А завтра определим их в мужскую обитель.

— Не можно, благодетельница, этого делать, не можно! — не согласилась Тикуса.— Отведу-ка я их лучше в село к Евдокиму.

Утром игуменья доложила о посланцах Ольги Алексеевны владыке. Тот захотел немедленно их видеть. Выслушал внимательно и обласкал.

Трудно сказать, поверил ли он в то, что Пашке и его товарищу удалось вырваться от большевиков, только приказал он, чтобы они ни в чем нужды не знали, живя в домике у одинокого богомольного старика Евдокима. Им доставляли горячую пищу и напитки. Пообещал владыка собрать необходимую сумму для Ольги Алексеевны. А за это они должны были повсюду рассказывать о тех притеснениях, которые терпят русские православные люди на советской земле. И гости, особенно Пашка, старались изо всех сил. Иногда они такое городили, что люди только недоверчиво качали головами.

— Что-то сумнительны мне их рассказы, матушка,— сказала однажды Тикуса Поликсении, наслушавшись Пашкиных разглагольствований.

— Что тут сумнительного? Помилуй, Пашка ведь сам прошел через все это.

— Прошел-то прошел, по его рассказам, да больно много воды утекло с тех пор, как мы его прежде видали. Чем он промышлял после-то, мы не знаем. Помню, во время строительства собора плут он был порядочный. А теперь вовсе в глаза не смотрит, все шары-то свои в сторону воротит. Продувная, сдается мне, бестия. А коли замышляет что недоброе? И опять же, письма от Ольги Алексеевны нет.

[1] Услугу.

— Так ведь он говорит, что, когда плыл через Днестр, утерял его.

— Так то *он* говорит. А у меня веры ему нет почему-то. Думаю, не подослан ли он кем?

— Что ты болтаешь, спаси и помилуй нас, господи? Кем же он может быть подослан?

— В наше-то время? Да кем угодно! И сигуранцей[1], и разбойниками, и даже Советами.

— Положиться нынче ни на кого нельзя, то правда,— призадумалась Поликсения.— Ты уж приглядись к ним получше, Тикусочка.

— Да на что они мне сдались? К чему приглядываться, если сам митрополит взял их под свое крылышко?

— Ну, высокопреосвященному виднее, что делать.

Две недели прожили в селе странники, в мужском монастыре к ним привыкли. Правда, Евдоким неоднократно жаловался на постояльцев: пьют больно, а в пьяном виде всякие непотребные слова говорят, к снохе не раз приставали. Доложили об этом владыке, но тот смолчал, хотя приготовленных для Ольги Алексеевны денег распорядился пока не выдавать.

Однажды утром, выйдя во двор, монахи увидели, что с колокольни церкви мужского монастыря свисает веревка. Открыли храм, а он был обворован. Веревка, как видно, была привязана еще с вечера. Кто-то незамеченным остался в церкви на ночь и, прихватив церковную утварь, спустился по веревке с колокольни на землю. Бросились к Евдокиму, а гостей и след простыл.

— Вот тебе и беженцы из царства антихриста,— засмеялась Тикуса, узнав об исчезновении Пашки и его товарища.— Церковь не иначе как они обчистили.

Владыка метал громы и молнии, когда узнал о краже, но взял себя в руки и всем приказал об этом случае помалкивать.

— Как бы не рассердились власти,— высказал он опасение.— А вдруг это были большевистские лазутчики, и они нам глаза ложью заливали?

Но через месяц Пашка на чем-то попался в Кишиневе. При нем нашли большой серебряный крест и дру-

---

[1] *Сигуранца* — тайная румынская полиция, охранка.

гие церковные вещи из Белой Криницы. На допросе он сознался в краже. Чтобы не думали, что он подослан Советами, рассказал, что во время гражданской войны в России был с белыми, с ними же и ушел в Польшу и там остался жить. А когда Красная Армия подошла к городу Станиславу, он бежал на Буковину. Скитался долго, не имея пристанища, а потом придумал пойти в Белую Криницу и выдать там себя за посланца Ольги Алексеевны. Хотел сыграть на монашеских чувствах благодарности за благодеяния бывшей купчихи. Ждал, ждал, когда владыка раскошелится на ее нужды, но тот все тянул и тянул. Стало Пашке невтерпеж, так хотелось ему поживиться, и он решил обокрасть церковь с помощью своего попутчика.

После суда над ворами почти все украденное монастырю вернули, за исключением кое-каких золотых вещичек, которые уже были сбыты. Однако расходы на подарки чиновникам, чтобы замять это дело, значительно превысили ценность возвращенного.

— Не дешево обошлись высокопреосвященному сказочки про большевиков,— с усмешкой говорил кое-кто после этого в селе.

С началом второй мировой войны стали усиливаться религиозные чувства людей. Если раньше во время службы храмы Белой Криницы были полупустыми, то теперь они вновь стали наполняться верующими. В обитель, как прежде, начали поступать различные дары. Митрополит Силуян прекрасно понимал, что выгодно поддерживать такие настроения у населения. Он собрал собор, на котором священство поддержало его предложение допускать к посещению храмов митрополии никонианцев, униатов и католиков. Монахи этому очень удивлялись. Был задуман даже ряд мер, которые должны были поднять престиж митрополии. В частности, было решено широко отметить день памяти младенцев Говеддая и Козодои, казненных в глубокой древности персидским царем Саворием[1] Намечалось перенести их святые мощи[2] из мужского монастыря в женскую обитель и открыть к ним свободный доступ. Возле мощей должна была гореть

---

[1] Персидский царь Саворий жил в VII веке нашей эры.

[2] *Святые мощи* — останки умерших людей, объявленные духовенством чудотворными.

неугасимая[1] и круглосуточно вестись служба. Подготовку к торжествам начали заблаговременно, предварительно известив все старообрядческие общины.

В свое время у старообрядцев с никонианцами было об этих мощах немало споров. Вот почему до последнего времени раки[2] с ними нигде не выставлялись, а были завернуты в плащаницу[3]. О них словно забыли.

В митрополии с самого ее основания были озабочены отсутствием святых мощей и освященных антиминсов[4], необходимых для устройства новых церквей. Долгое время переписывались с Москвой, но без всяких результатов, так как на Рогожском кладбище ничем не располагали, что можно было бы им выслать.

Тогда на поиски мощей кинулось немало предприимчивых людей из среды старообрядцев. Многие из них «добрались до самого Иерусалима», но их уличили в обмане, а доставленные ими оттуда «реликвии» были отвергнуты.

В 1876 году старообрядческий священник с Северного Кавказа Стефан Загороднов сообщил Московскому архиепископу Антонию, назначенному в Москву Белой Криницей, что уставщик Иосиф Горячев нашел на Кавказе мощи святых персидских мучеников — младенцев Говеддая и Козодои, живших, по преданию, в Персии 1200 лет тому назад[5].

Архиепископ Антоний несказанно обрадовался этому известию и тут же повелел доставить мощи в Москву. Сделать это он рекомендовал тайно, без всякого шума. Стефан Загороднов выбрал самый надежный вид транспорта — железнодорожный. Он упаковал «драгоценную находку» в обычный ящик и сдал по своему билету в багаж. Все это позволило без всякого досмотра, в том числе и карантинного, благополучно доставить реликвии в Москву. На Рогожском кладбище, где помещалась архиепископия, Антоний щедро наградил священника Загороднова.

---

[1] *Неугасимая* — свеча, которая все время горит днем и ночью.

[2] *Рака* — металлический ящик, в котором хранятся так называемые мощи святых.

[3] *Плащаница* — ткань с изображением тела Христа.

[4] *Антиминсы* — ткань с зашитыми в нее мощами святого — необходимый предмет для совершения причащения.

[5] По преданию, Говеддая и Козодои были казнены за то, что приняли христианство.

Вскоре по указанию архиепископа были изготовлены две роскошные иконы с позолоченными окладами, куда и были хитроумно запрятаны мощи. Затем их тайными путями переправили за границу.

Персидские мощи в Белой Кринице были встречены с превеликими почестями. В их честь служились молебны, с ними совершались крестные ходы. Часть мощей была использована для антиминсов, с помощью которых освящались новые церкви.

Однако вскоре противники старообрядчества обвинили священника Загороднова, который к тому времени почти спился, а с ним и Московского архиепископа Антония в обмане. Между московским старообрядческим духовенством и верующими начались разногласия. Антоний с трудом удержался в своем сане. Когда в Белой Кринице узнали о скандале, многие из святителей стали требовать подтверждения, что это настоящие святые мощи, а не подмена.

Тогда в защиту мощей выступили Московский протоиерей[1] Старков, уставщик Иосиф Горячев и старообрядческий епископ Кавказский. Но сколько-нибудь авторитетных свидетелей и доказательств подлинности мощей им выдвинуть не удалось. В России эта история попала даже в светскую печать, не говоря уже о церковной. Газеты писали, что старообрядческие деятели дошли до того, что заставляют верующих поклоняться останкам зайца, собаки и некрещеных черкесов. При этом нашлись люди, утверждавшие, будто из достоверных источников знают, что так называемые мощи были взяты из фамильного склепа одного черкесского князька. Теперь уже многие старообрядцы при упоминании о «персидских мощах» стали плеваться. В общем, шум вокруг мощей не утихал вплоть до начала первой мировой войны.

В Белой Кринице «реликвии» упрятали «с глаз подальше» и стали держать взаперти, никому не показывая, как будто их не было. Так они пролежали в забвении свыше тридцати лет. За это время многое изменилось. Митрополит Силуян надеялся, что теперь, когда уже столько воды утекло, едва ли кто вспомнит старый скандал и вновь начнет оспаривать подлинность мощей, тем более что с русской землей, где находились теперь враги старообрядчества, у Белой Криницы давно уже не

---

[1] *Протоиерей* — старший священник.

было никаких связей. По мнению владыки, настало время, когда следует отдать мощам должное. Освященный собор был с ним согласен.

К торжествам готовились тщательно. Они должны были быть с размахом. В монастырях мыли и чистили, все храмы ремонтировали. Прихорашивалось и село. Пришедшие в ветхость деревянные кресты на могилах иноков Павла и Олимпия[1] заменили каменными. Подготовили для гостей жилье в монастырях и крестьянских избах.

Приглашения разослали не только по всей Румынии, но и во многие еще не воюющие страны. Специальные приглашения с изъявлением верноподданнических чувств послали королю и королеве Румынии, а также многим высокопоставленным чиновникам и местным богачам.

Но торжества уже приближались, а никто из так ожидаемых высокопоставленных лиц не удостоил митрополию даже ответом. Не принял приглашения и Черновицкий епископ.

— Ох-хо-хо! — тяжело вздыхал владыка.— Понаедет к нам одна голытьба. Велик ли доход-то будет? — Он хмурился и не скрывал своего плохого настроения. Больше всего его волновало, какой политический резонанс вызовет празднество. Некоторые газеты Бухареста, Кишинева, Ясс, Черновиц и Сучавы дали сообщения, не безвозмездно, конечно, о предстоящем событии. Но никто пока не выступил с его оценкой, не высказался по этому поводу. И это молчание митрополита настораживало.

Накануне праздника, наряду с многочисленными верующими и гостями, в Белую Криницу стали приезжать и корреспонденты буржуазных газет. Известный бухарестский репортер из газеты «Вечерние новости» Жорже Одобеску, набивший руку на смаковании скандальных новостей, представился одним из первых. Митрополит был ошеломлен его неожиданным заявлением:

— Святой отец, я хочу сразу же поставить вас в известность, что располагаю рядом неопровержимых обличительных материалов о ваших так называемых персидских мощах. Я намерен опубликовать их вместе с отчетом о ваших торжествах. Причем прошу отметить мое доброе к вам расположение: я воздерживаюсь от этой

---

[1] Олимпий был другом и помощником во всех делах Павла Белокриницкого.

публикации до начала торжеств, чтобы не привести вас к значительным осложнениям.

Митрополит Силуян изменился в лице. Он хорошо понимал, какую кашу могут заварить газетчики, переворошив все, что когда-то болталось о мощах. От волнения у него даже пересохло в горле, но он как можно спокойнее ответил:

— И я должен, сын мой, верить своим ушам? Неужели вы в такой момент и вправду затеваете что-то, чтобы запятнать нас? Мы ведь не мохом обросли, не одичали, чтобы к подложным реликвиям народ сзывать. Когда-то вокруг святых мощей столько лжи возвели, что страшно было. Но потом все-все прояснилось, так кто вам поверит? То, что вы задумали, славы вам не принесет, вот увидите.

— Что вы, владыка святый, я за славой не гонюсь. Но вы должны меня понять: я *обману* не хочу попустительствовать. Я думаю, что вы, несмотря на все ваши усилия, не сможете доказать подлинность мощей.

— Всуе говорите праздное слово, сын мой, никому не приносит оно пользы, ибо есть грех. Кому интересны ваши выдумки? Ревнители древлего благочестия уже привыкли к хуле, и их это нимало не заденет.

— Я, владыка святый, не с потолка взял эти факты, а из документов тех лет. Вспомните-ка, сколько было статей в печати! А заключение официальной комиссии русской православной церкви? Оно вами не было опровергнуто.

— Тогда мы не считали нужным это сделать, но сейчас, коли на то пошло, сделаем,— не сдавался Силуян.

— Дело хозяйское, владыка, но не обессудьте, если я позволю себе еще на несколько минут задержать ваше внимание и прочитать несколько выдержек из старых выпусков газет и журналов. Вот, например, «Беседа о персидских мощах» из «Церковных ведомостей» за март 1898 года. Писал протоиерей Дмитрий Александров: «В станице Архан-Юрт, в трех километрах от станции Карабулакской, на пригорке стоит минарет. Под ним пещера. Там давно лежали три высохших человеческих тела, кожа на которых местами отстала. По утверждению местных жителей, это были трупы местного князька Ислама, его жены Фатимы и их слуги. Там же валялись трупы собаки и зайца. Поскольку старообрядческие деятели искали для своих церквей святые мощи, раскол-

нический деятель Иосиф Горячев подал мысль, что это останки святых угодников. Священник Стефан Загороднов сообщил об этом в Москву архиепископу Антонию. Тот повелел останки доставить на Рогожское кладбище. В 1876 году Стефан Загороднов забрал трупы некрещеных черкесов вместе с останками животных из пещеры и отправил их в Москву железнодорожным багажом. Антоний признал их за тела христианских мучеников Говеддая и Козодои».

— Александров для нас не авторитет, и мы его не знаем,— презрительно бросил митрополит Силуян.— И вообще, тут каждое слово ложь.

«Эту мерзость, эту заразу Антоний распространял везде и всюду»,— это уже слова известного старообрядческого деятеля Мельникова.

— Лгали! Бессовестно лгали! — Владыка резко встал со своего места и начал взволнованно ходить по комнате. Одобеску почувствовал, что его жертва наконец-то все же поддается, и продолжал:

— А вот послушайте еще неплохой отрывочек, владыка,— из «Русских епархиальных ведомостей» за 1910 год. «Как можно поверить, что останки детей персидского царя Савория — Говеддая и Козодои, живших 1200 лет назад в Персии, могли сохраниться до наших дней и оказаться на Кавказе? Это все сфабриковано отчаянным священником Загородновым, который страдал запоем и белой горячкой. Доставив эти трупы некрещеных черкесов в Москву, он целый месяц пьянствовал, а затем уехал, после того как был награжден Антонием малиновой рясой».

— И это злостный навет врагов наших! — воскликнул митрополит.— При чем тут ряса-то малиновая?

— Владыка святый, а вот эти слова принадлежат авторитетному старообрядческому епископу Измаильскому — Антонию: «Нельзя, чтобы церкви освящались на трупах некрещеных черкесов. Это нечестие надо исторгнуть из церквей божьих». Это он заявил на соборе в Москве. И это заявление было напечатано потом во многих газетах. Кстати, у меня тут немало и других высказываний ваших деятелей, в том числе и белокриницких.

— Хватит! — прервал репортера митрополит.— Я это знаю и без вас. До нас дошли отголоски этой клеветы, злых этих выпадов. У нас, старообрядцев, на такие об-

винения ответы есть, но мы не могли в свое время их дать из-за отсутствия свободы печати в России. Нам не разрешили публично выступить с опровержением.

— Но сейчас другое время, теперь сможете.

— Сможем!

— Но и румынские газеты вправе спросить вас, например, как трупы младенцев попали из Персии на Кавказ.

— На это должны ответить ученые, а не мы. Нам было достаточно изучить расчленение мощей. Если бы вы прочитали описание гибели детей, того, как они были зарублены, вы бы убедились в подлинности реликвий.

Репортер захохотал.

— Ну и ну... Нет, ваши доводы неубедительны. Их рассечь могли позже.

— Воистину бес сомнения вас искушает. Ведь эдак можно отвергнуть все христианские святыни.

— Все не все, но кое-что можно. В Италии, например, труп христианского первомученика Стефана находится одновременно в Бенедиктинском монастыре в Венеции, в церкви святого Георгия в Риме и в церкви святого Лаврентия...

— Вот это верно. А сколько по итальянским церквам гвоздей господних? Так почему вы об этом молчите? Боитесь замахнуться на святая святых? Такие штучки вам папа бы не простил, да и румынская церковь по головке не погладит...

— Оставим это, владыка. У нас разговор о ваших мощах. Так о чем мы говорили?

— Что касается наших бывших противников в России, то им и рта не следовало бы открывать,— сердито продолжал владыка.— Разве никонианский игумен Макарьевского монастыря Никита не открыл кости какого-то монаха и не выдал их за останки преподобного Макария? И разве не был в их монастыре праздник по такому случаю, а в праздник раки с мнимыми мощами не выставили на всеобщее поклонение? Сами никонианцы признали вину свою и разжаловали Никиту.

— Не горячитесь так, владыка. Я сюда приехал совсем не для того, чтобы защищать католиков или ваших противников никонианцев. Я только хотел вам сообщить, что мы располагаем точными данными о персидских мощах и, как всегда, постараемся сказать правдивое слово на страницах нашей газеты.

— Какое там правдивое слово! Как ни поверни — одна ложь у вас!

— Ну, ну, владыка святый, это уже слишком! Мы добьемся, чтобы ваши мощи проверили самыми современными научными способами.

— Ладно,— устало махнул рукой Силуян, поняв, что напрасно ведет разговор.— Что вы хотите от нас, говорите прямо.

— Совсем пустяк, владыка святый,— десять тысяч лей в пользу газеты, пять тысяч лично мне и кое-какие драгоценности для моей жены, так сказать, в качестве сувенира от вас. И тогда я сразу дам задний ход.

— А вы не боитесь сломать зубы на таком большом куске? То, чем вы занимаетесь, называется шантажом и карается по закону. И вы многовато просите за такой залежалый хлам. Если мы ничего не дадим, ваша писанина, как я уже сказал, не принесет вам доброй славы, а гонорар будет пустячным. Ведь вы сыграете на руку безбожникам и тут, и в России. Ваши измышления перепечатают советские газеты, сочтя их за антирелигиозную пропаганду.

Репортер несколько растерялся, так как не ожидал такой версии, однако весело сказал, что согласен на небольшую уступку.

— Пять тысяч лей для вашей газеты и три тысячи для вас лично. Жене вашей найдем кольцо и серьги, золотые, разумеется,— хмуро сказал митрополит.

— С камушками?

— Ладно, будут с камушками.

— Эх, владыка святый, я ведь вам такую услугу делаю, а вы хотите дать мне такую малость.

— Малость? Вы ни за что обедняете митрополию и мне же делаете упреки. Если не согласны, прощайте. Я устал от вас сверх меры.

— Ну, что ж, я согласен,— поспешил сказать репортер.

— Я прикажу казначею сегодня же выдать вам все. Вы же готовьте расписку на мое имя. Это будет как обязательство. Запишите, сколько денег и ценностей получите, и укажите, что никогда отныне не выступите против нашей церкви и ее реликвий. После этого можете уезжать.

— А кто напишет отчет о праздновании в Белой Кринице? Конечно, положительный...

— Ладно, оставайтесь до завтра,— уже равнодушно ответил владыка.

Осеннее утро выдалось по-летнему ясным и теплым. Сады и леса в осеннем уборе радовали глаз. Казалось, сама природа позаботилась о торжествах в Белой Кринице. Желтые листья усеяли посыпанные песком дорожки монастырского парка и теперь мягко шуршали под ногами. Колокола белокриницких церквей перекликались с колоколами староверческих храмов в Климауцах и Соколинцах. Празднично одетые богомольцы шли густыми потоками к собору мужского монастыря, откуда предполагался торжественный вынос мощей. Среди гостей было немало приезжих из Вилкова, Добруджи, Сучавы, Кишинева, Измаила, Бендер и Кагула.

Жорже Одобеску, получивший от казначея деньги и драгоценности, стоял в сторонке в превосходном настроении. Собственно, праздник его уже не интересовал, и он мог уехать. Писать репортаж, за который положен гонорар в какие-нибудь двести лей, ему не хотелось. Но поезд на Бухарест уходил только вечером, и он решил поразвлечься здесь. Он с удовольствием подумал, что ему в последнее время чертовски везло. Солидную сумму недавно заработал в Бухаресте тем, что пригрозил одному фабриканту опубликовать в газете данные о том, что тот скрыл свои доходы, чтобы не платить налоги. Три тысячи лей получил подобным же способом от страхового агента и две тысячи — от содержательницы публичного дома. А теперь и совсем легко заработал целое состояние, а главное — без всякого риска. Когда он хотел разоблачить похождения жены одного министра, то ее любовник пригрозил ему расправой, короче говоря, пообещал убить. А тут вся эта история с персидскими мощами вычитана им из старых русских изданий.

Когда собор мужского монастыря был набит уже до отказа, к нему протянули через весь двор от митрополичьих покоев ковровую дорожку. По ней митрополит Силуян в сопровождении пышной свиты медленно пошел в храм. Торжественно звучали колокола. Народ расступился, и все как один преклонили колена. Началась служба, которой, казалось Одобеску, не будет конца. Ему все это быстро надоело. Потеряв всякое терпение, он сходил в келарню и выпил яблочного вина, потом съел жареную утку. Возвращаясь к собору, он увидел

направлявшееся оттуда церковное шествие. Впереди мальчики со свечами, затем Силуян, а за ним все священство, одетое в самые лучшие ризы. Ярко горели на солнце литые золотые кресты, которые они держали в руках. Далее несли хоругви, огромные деревянные кресты, украшенные цветами и лентами, а затем носилки с персидскими мощами. Их держали на высоко поднятых руках иноки в черных шелковых мантиях. Певчие, двигавшиеся за ними, пели псалмы, а толпа богомольцев, следовавшая сзади, подтягивала им и неистово крестилась.

Глядя на это великолепие, Одобеску понял, что он ужасно продешевил, что можно было бы с этих длинногривых монахов содрать раза в два-три больше. И никуда бы они не делись. А теперь поздно, расписка им отдана.

Из ворот женского монастыря вышел другой крестный ход. Он направлялся навстречу первому. Его возглавляла игуменья. Посреди улицы оба шествия встретились и пошли через ворота женского монастыря к зимней церкви. У входа в нее остановились. Матушка Поликсения приняла из рук иноков серебряные раки с мощами, снятые с носилок, передала их инокиням, которые понесли их на вытянутых руках. Загудели снова колокола. Сотни рук поднялись в крестном знамении. У стариков глаза блестели от слез.

Жорже Одобеску, шедший в сторонке, не расслышал, что сказал Силуян, после слов которого все снова преклонили колена. Послышалось многоголосое бормотание молитв. Церковный звон стал стихать, и запел женский хор. Пение подхватили монахи, потом все остальные. Матушка Поликсения поднялась на паперть и распахнула настежь двери.

— Ну вот и привел господь святые мощи в нашу обитель,— громко сказала она и трижды облобызала серебряные раки. После этого мощи внесли в церковь. Там вспыхнули свечи, а колокола загудели с новой силой. Даже наблюдавшие за порядком румынские жандармы стали креститься.

В церковь вошло все священство, а за ним стал входить простой люд. Помещение храма было невелико и всех вместить не могло. Началась толкотня, перешедшая потом в давку. Владыку так потеснили, что пришлось ему зайти в алтарь. Вскоре дышать стало нечем. Свечи

одна за другой гасли. Одобеску вначале чуть было не сбили с ног, а затем он попал в самую гущу толпы, и его основательно помяли. Прижатый к стене, он еле дышал. Волосы растрепались, галстук съехал на сторону, две пуговицы на пальто были потеряны. Одной рукой он изо всех сил прижимал к груди карман, где была дань, взятая им с владыки, и думал: «Как здорово, что сюда не приехали бухарестские карманщики. Все мои старания пошли бы прахом».

Дальше началось и вовсе невообразимое. Кто-то предлагал покинуть церковь, но снаружи все напирали и напирали. Послышались стоны и вопли, некоторые падали в обморок. Тут стали действовать жандармы. Они оцепили дверь и, расталкивая всех без разбору, начали по одному выставлять из церкви мокрых от пота богомольцев. Жорже Одобеску был рад, что и его вытолкали. Совсем обессилевший, он сел на травку неподалеку и стал приводить себя в порядок, проклиная староверов и ругая себя за то, что забрался в эту церковь.

А через два дня в бухарестской газете «Вечерние новости» появился репортаж Жорже Одобеску о торжествах в Белой Кринице, хотя они еще не закончились. В нем в умилительном тоне говорилось об исключительной религиозности русского народа, о том, что такие праздники возвышают души людей, что персидские мощи — святыня, которой любой православный почтет за счастье поклониться. Объяснялась и давка в церкви: «Верующие, словно получив электрический заряд, пришли в неописуемый восторг». И ни слова не было о том, что мощи подложные.

Владыка больше не жалел о понесенных расходах. Узнав через печать о чудесных мощах, способных истинно верующего даже избавить от недуга и от покушений дьявола, в Белую Криницу потянулись богомольцы, причем большинство из них староверами не были. Доходы церквей и монастырей стали расти. Но продолжалось это недолго.

Весной 1940 года из глубины Румынии потянулись к Днестру войска. Сперва шли строительные и саперные подразделения, чтобы построить на границе с Советским

Союзом укрепления. А вскоре Бессарабия и Северная Буковина были буквально наводнены войсками всех родов. Военные приготовления, мобилизация в армию населения, займы правительства на вооружение — все говорило о том, что мирной жизни скоро наступит конец. Митрополит Силуян был сильно встревожен. Ему казалось, что война непременно скоро подберется и к Белой Кринице. Несмотря на приближение пасхи он срочно собрал духовный совет.

— Дорогие братья и сестры во Христе! — начал он речь.— Война стоит у порога древлеправославной твердыни. Не исключено, что здесь могут оказаться большевики, могут начаться жестокие сражения...

Все замерли. Потом стали креститься и читать молитвы. Митрополит же, довольный произведенным впечатлением, продолжал:

— Большевики никогда не признавали справедливым отторжение Бессарабии и теперь могут забрать ее обратно. И к Буковине могут руки протянуть, тем более что здесь живет много украинцев да еще и русские...

— А может, владыка святый, бог помилует, не оставит без помощи? — не дав договорить митрополиту, сказала упавшим голосом игуменья Поликсения.

— Ну, матушка, на бога надейтесь, но сами, смотрите, не плошайте. Нечего искушать судьбу. Надо обитель и митрополию готовить к тому, чтобы в случае нужды можно было быстро уйти в другое место. То, что нельзя будет увезти с собой, должно быть спрятано в надежные тайники. Трудно сказать, какой нам жребий выпадет, но так может случиться, что придется срочно покидать митрополию. Так что приступайте к делу немедленно.

И засуетились, забегали в монастырях и в митрополичьих покоях. Только доверенные люди прятали ценности в тайниках. Матушка Тикуса ухитрилась замуровать в стену подвала даже бесценную мраморную плащаницу. Драгоценности запрятала собственноручно, и только Анфиса ей помогала. К вывозу подготовили лишь бумажные деньги, векселя, ценные бумаги и документы на владение монастырскими угодьями. Для видимости в сундуки уложили только кое-что из позолоченных и серебряных вещей.

В тайную кладовую, о существовании которой почти никто не знал, сложили ценное облачение, некоторые старинные книги и образа. Другое ценное имущество упа-

ковали в ящики и сложили в подвале. Так и стали «сидеть на узлах», ожидая неизвестно чего.

В начале июня в селе Белая Криница расквартировался жандармский отряд. Командир — маленький и щуплый майор с наглыми глазами — явился к митрополиту Силуяну и сообщил, что отряд прибыл для охраны русской святыни и для помощи, если будет необходима эвакуация. Владыка и бровью не повел, лишь спросил:

— С Советами будет война?

— Все может быть, высокопреосвященный, будьте готовы ко всему. Впрочем можете не бояться: если станет опасно здесь оставаться, мы поможем вам выехать сразу. Всегда к вашим услугам.

В середине июня майор потребовал от владыки опись всех монастырских и митрополичьих ценностей. В митрополии и монастырях прекрасно понимали, что в случае приказа оставить Белую Криницу или при каких-либо других осложнениях все, что будет включено в опись, может быть изъято властями. Поэтому самое ценное в описи не указывалось. Как древние вписывались малоценные иконы, как драгоценная — обыкновенная митра, а золотые кресты заменили позолоченными.

Представленная опись майора не удовлетворила.

— Не принимаете ли вы, владыка святый, меня за дурака? — сердито сказал он.— Прежде чем выехать в Белую Криницу, я узнал все подробности о вашей митрополии. Судя по всему, у вас должны быть настоящие богатства — драгоценные камни, золото, серебро, иконы старинного письма, древние книги. Где все это? Не бережете ли вы эти ценности для своих «русских братьев»?

— Бог с вами, господин майор! — взмолился Силуян.— Того, что вы назвали, мы давным-давно лишились. Нас трижды обокрали во время прошлой войны, да и после войны дважды сгоняли с места; пять раз на нас нападали! Подумайте только! Вам должно быть известно и то, что в австрийских банках пропали все наши ценности и деньги. До революции многие влиятельные люди, особливо из российского купечества, оказывали нам поддержку. А после семнадцатого года мы не получили с родной земли ни копейки. Так что посудите сами, откуда у нас взяться большим-то богатствам.

Однако офицер был не из тех, кто верил на слово

даже митрополиту. Вскоре по обители начались обыски и проверки. Все, что не было учтено и попадалось жандармам на глаза, вносилось в специальные ведомости или бралось жандармами под охрану.

Как-то поздним вечером майор неожиданно пришел с группой солдат в домик к экономке Тикусе. Женщины уже спали. Разбуженные грубым стуком в дверь, они кое-как оделись и впустили непрошеных гостей в дом.

За несколько минут жандармы с удивительной быстротой переворошили все комнаты, распороли подушки и перины, перерыли книги, отодрали половицы в полу. Майор же все время не сводил глаз с Анфисы. Он не ожидал встретить здесь такую молодую и красивую монашку.

— Простите за вторжение, сестра, выполняем свой служебный долг,— учтиво сказал он.

Анфиса молчала, гневно нахмурившись, и это еще больше понравилось офицеру.

— Ладно,— произнес он нарочито громко.— Я вижу, что тут ничего не найдешь. А ну-ка, ребята, убирайтесь отсюда!

Тикуса пошла в сени закрыть за солдатами дверь. Офицер взял Анфису за руку и приложился к ней губами.

— Вы мне так понравились, сестра, что я сделаю для вас все, что угодно, только прикажите.

— Нет, увольте, мне ничего не надо!

— Но я могу надеяться на взаимность? Я могу быть вам симпатичен? Умоляю, скажите быстрей, пока не зашла ваша тетушка.

— Я Христова невеста, господин майор, и свою жизнь посвятила богу.

— Э-э... бросьте вы эти сказки. Кто поверит, что такая привлекательная девушка, как вы, не мечтает о любви. Скажите лучше, где я вас увижу завтра? Я ведь все равно не успокоюсь, пока своего не добьюсь.

На другой день, когда Анфиса возвращалась со службы, майор схватил ее за руку и, отведя в сторону, стал просить о свидании. Она вырвалась и убежала.

Вечером он пришел в домик Тикусы с вином и букетом цветов. Сколько Тикуса не увещевала его, он не прекращал своих домоганий. На следующий вечер все повторилось. Тикуса и племянница поняли, что нужно немедленно что-то придумать. После долгих разговоров

решились на то, что Анфиса пока поживет у двоюродной Тикусиной сестры Манефы в соседнем селе Климауцы. От Белой Криницы туда всего каких-нибудь три-четыре километра.

*

Чуть стало светать, запрягла Тикуса лошадь и легкие дрожки и незаметно выехала с Анфисой за околицу Белой Криницы. У одноименного родника они остановились, чтобы умыться. Тикуса не могла удержаться от воспоминаний.

— В былое время, голубь мой, воду из этого родника в Россию возили. Подводы тут день и ночь стояли, люди наполняли бутылки, бидоны, бочки. Перевезут за Прут небольшую толику водицы, а там разбавляют обычной. Теперь воду некому брать,— вздохнула она,— и стежки-дорожки, что ведут сюда, заросли травой. А жаль,— Тикуса смахнула слезу.— Эх, миленькая, хорошее было времечко. Было не раз — пошлешь к празднику какому-нибудь купцу в Россию бутылочку этой воды под сургучом, а он тебе в ответ сотенную передаст. Вот ведь как ценилась наша водичка.

Басовито загудел колокол Климауцкой церкви. Первые лучи утреннего солнца пробились сквозь облака. По луговому разноцветью заблестела роса.

— А все же славно, что хоть на время отсюда уеду. Хорошо-то как на природе! — вздохнула Анфиса.— Как птаха в клетке, я живу. Стены монастырские мне противны стали, лица одни и те же каждый день вижу, и хоть бы что в них хорошее было.

— Что это с тобой, милок? А я-то думала, что все это в тебе уже перегорело. Небось, это усталость в тебе говорит. Вот отдохнешь теперь у Манефы. Женщина она добрая, ласковая. Глядишь, худые мысли-то и повыветрятся. Ну, едем.

Приехали вовремя. Манефа собиралась идти в церковь. Увидев в окно гостей, она положила на сундук узел с калачами, который держала в руках, и выбежала навстречу.

— Гостеньки вы мои дорогие! Вот уж удовольствие мне сделали, вот уж порадовали старуху ради воскресного праздничка. Проходите в дом, да не обессудьте за

наше скромное жилище. А лошадку работник распрягет и корму ей даст.

— Распрягать не надо,— остановила ее Тикуса.— Попью с вами чайку и тронусь обратно. Племянненку вот оставлю покамест на твое попечение. Ты ее побереги, милая душа, я на тебя, как на самоё себя, надеюсь.

— Как же, как же, не изволь беспокоиться, сохраню твою красавицу. А мила-то до чего! Степа, а Степушка, иди сюда скорей,— позвала Манефа работника.— Встречай гостей! Да оторвись же на минутку от своих молитв. Господь бог и так видит твое усердие.

Из сарая вышел высокий молодой парень. Вид у него был такой, будто он только что со сна. Нечесаная рыжая борода и нестриженая шевелюра придавали ему вид бродяги, хотя красивого лица не портили. Увидев приезжих, он слегка приосанился, разгладил пятерней волосы.

— Чего, хозяюшка, звали?

— Да вот напои, накорми лошадок, овса дай им лучшего.

— Сделаю, благодетельница, а не прикажете ли еще что? — работник встретился глазами с Анфисой и покраснел.

Гости вошли в дом, пахнувший травами и испеченным хлебом. После метаний и молитв начались расспросы про житье-бытье. Манефа принесла самовар.

— Утешили вы меня,— не умолкала она.— Как Митрич мой помер, все-то я одна-одинешенька, живу, как сыч, не с кем словом перемолвиться. Дети ездят редко, да и неблизко им: Оленька и Саввушка в Бухаресте, а Петенька застрял в Вене. Война теперь, выпустят ли его? А я даже стряпуху не держу, не к чему, много ли мне надо? А работников нанимаю: самой не под силу управиться. Теперь Степушка живет.

— Сапелковский бегун?[1] — спросила Тикуса.

— А ты откуда знаешь?

— Да уж распознала, видно птицу по полету. Бегунов, милая, немудрено определить. Смотри, чтобы он не натворил чего-нибудь. В Соколинцах бегуны-то купца дочиста обобрали.

— Степушка не из таковских. Смирный, набожный, таких и среди женщин не встретишь. Вроде родного он мне стал. Старается, ни в чем не перечит.

---

[1] Центром секты бегунов было село Сапелки под Ярославлем.

Пока самовар закипал, на столе появились графинчик с вишневой наливочкой, соленые рыжики, свежая клубника.

— Не знала я о вашем приезде, а то бы уж подготовилась как следует, напекла, наварила,— сказала Манефа.— Да вы не стесняйтесь, закусывайте, чем бог послал. У меня все свое, не купленное. По ярманкам-то я нынче не езжу. Но Степушку завтра в Черновицы или Сучаву пошлю, пусть привезет лакомств для нашей племянненки.

— Что вы, тетя Манефа, я ведь не маленькая.

— Знаю, знаю, а что ни говори, в обители еда все одна и та же. А потому побаловать тебя маленько не грех. Да что вас привело-то ко мне?

— Испугались, Манефочка, мы там румынского офицера. Стал он приставать к Анфисочке. И то, нехристь, не хотел в толк взять, что она в монашестве.

— Ох, какая ты беспокойная, сестрица. Ну да я уберегу нашу красавицу. У меня тут как за каменной стеной. Чужие не ходят, а Степушка и мухи не обидит, кроткий он. И при молении-то ему усердия не занимать.

Чаевничали долго. О чем только не переговорили, кого не вспомнили. Потом старушки отвели Анфису отдыхать в горенку, а сами пошли в моленную.

Проснулась Анфиса часа через два. Манефа снова накрывала на стол. Увидев, что гостья встала, она заулыбалась:

— Проголодалась, небось, милушка! Мне и угостить-то тебя с дороги нечем было. Зато теперь у нас есть пироги, только что испекла; уточку зажарила, икорки к блинам достала из погреба, намедни из Вилкова привезли.

— А где Тикусочка?

— Уехала, мил свет, уехала, дел, говорит, у нее невпроворот.

Пока обедали, два раза забегал в дом Степан. Переминался с ноги на ногу, краснел, лепетал что-то невнятное.

— Ума, что ли, решился, парень, как на тебя поглядел? — пожала плечами Манефа.— Слова путного сказать не может. Они ведь с женским полом робеют. Ему бы жениться, как раз в поре, а он все постится да молится. А то вериги на себя наденет, от плотских вожделений, кажись, спасается. Один раз с покоса ехал, а к

нему какая-то молодица привязалась, так он после этого целую неделю на камнях спал.

Прошло несколько дней. Анфисе нравилось в Климауцах. Она помогала Манефе по хозяйству, с удовольствием возилась с домашними делами и стряпней. Степана встречала не часто, тем более что он по обыкновению питался в надворной избе, а не с ними.

Однажды увидела его в рубище, через шею перекинуты на железных цепях гири, к ногам привязаны деревянные колодки. Так он ходил день, другой и третий...

— Зачем же это ты над собой издеваешься? — спросила как-то Анфиса, выйдя во двор, где Степан работал.

— Беса от себя гоню, сестрица, спасаюсь от искушения,— ответил он неохотно. Глаза прятал, прямо не смотрел.

— Разве это жизнь для тебя? Тебе подобает дом устроить, семью завести, а пока ничего этого нет, мог бы и поразвлечься немного. В селе вон сколько парней и девок, погулял бы с ними, сходил бы на игрища.

— Развлекаться нам не положено, на бесовские игрища ходить тоже заказано.

— Жаль мне твоей молодости,— тихо сказала Анфиса.— Пройдет быстро, не заметишь, а и вспомнить будет нечего, вот разве что эти вериги...— Она замолчала. «Самой-то мне каково? — грустно подумалось ей.— У самой-то годы молодые на что уходят? Уж лучше бы здесь остаться, чем возвращаться в эту тюрьму Силуянову».— А ты подумай, подумай, Степан, еще все успеешь.

— Не по мне это все, сестрица, другие заповеди я чту.

— Так шел бы тогда лучше в монахи!

— Церкви, иконы, ризы и монахов мы не признаем. Когда Христа вели на распятие, ничего этого не было. Но и в миру нам жить тяжко: деньги все любят, а их мы тоже не признаем, ради них Иуда Искариот Исуса Христа продал.

— А за что же ты на Манефу работаешь? Не даром же?

— За хлеб-соль да одежонку какую. А если и даст она толику денег, так отдаю я их такому же, как и я, у кого штаны до дыр протерлись.

Странными Анфисе были его речи. Пошла она в дом, задумавшись. Вдруг он догнал ее, схватил за руки, прижал их к своей груди и тут же зашагал прочь.

— Боюсь я что-то вашего Степана, тетя Манефа,— сказала после этого Анфиса.

— С чего это, мил друг? — удивилась тетка.— Год живет у меня, а еще плохого слова от него не слышала. На девушек он не взглядывает. Приходят ко мне племянницы, пытаются тары-бары с ним развести, баловницы, так он лишь плюется да отворачивается от них.

После этого случая Степан неожиданно преобразился. Густые кудри были расчесаны, а борода подстрижена, темные суконные шаровары, сандалии и белая косоворотка очень шли ему.

— Чего ты так вырядился? — спросила Манефа — Может, собрался куда?

— Да уж не ахти как вырядился,— смутился он.— Не хочу больше пугать своим видом вашу племянницу.

В воскресенье Манефа пригласила Степана в дом на общий обед. Говорили о том, о сем, а потом разговор опять к бегунам свели. Анфиса спросила:

— Странниками вас не назовешь, на богомолье вы не ходите. А кочуете, ровно цыгане. Отчего же вы, Степан, не признаете постоянного местожительства?

— Путь истинный, на котором для души спасение, все ищем, потому и не оседаем нигде надолго.

— А семью почему не заводите?

— Незачем! — резко ответил он.— Брачующиеся в церквах греха своего не сознают и потому не приносят покаяния. А в раю без покаяния никому не будет места.

— Если следовать вашему учению, и людской род может прекратиться. И бегуны, в том числе, переведутся.

— Иметь детей не возбраняется, сестрица. И приласкать девицу не велик грех. Этот грех прощен может быть.

— В бога, в Исуса Христа вы верите, а почему же крещение отвергаете?

— Не отвергаем, сестрица, а не спешим с ним. Человек некрещеный к ответу богом не призывается, грешит он по своему неразумению. Крещение можно принять лет сорока, а то и старше либо даже перед самой смертью, чтобы очищенный от грехов в купели вошел в жизнь вечную чистым и непорочным.

— По-вашему получается, для того, чтобы попасть в рай, надо обязательно нагрешить?

— Если хочешь покаяться, значит, согреши. Без греха нет покаяния, а без покаяния, я уже сказал, нет места в раю.

— И как это язык у тебя поворачивается такое говорить? — проворчала Манефа.— Только богоотступники по своей воле такие рассуждения ведут.

— И еще любопытствую я, Степан, почему вы собственность отвергаете? — продолжала спрашивать Анфиса.

— А у Христа ее много было? Одно рубище. А теперь ради богатства люди бесятся, иные миллионы наживают, рай хотят себе на этом свете устроить. Даже церковь ваша за деньгами и богатствами гонится. Кому они нужны? Богу?

— Что верно, то верно, богу они не нужны,— согласилась Анфиса.

— Может быть, богу нужны украшенные золотом и дорогими камнями, намалеванные руками грешников образа? Али золотые и серебряные кресты ему надобны? Нет! Суета все это! Мы почитаем лишь деревянный крест, такой, с каким Христос был возведен на Голгофу. И ни к чему все ваши пышные богослужения. Христос жил в бедности, не имел своего дома и лучшего не желал. Мы всегда это помним.

— Пышные богослужения подымают душу человека, дают отдохновение от маяты земной,— возразила Манефа.

— Суета сует. Дело не в пышности, а в том, как кто божественным проникается.

— Что с ним говорить,— сказала Манефа,— как ни распинайся, а из этой веры его не выгонишь.

Степан промолчал. Он пытливо поглядел на Анфису. От него не укрылось, что смотрит она на него с интересом. Искорки радости мелькнули в его глазах, и он отвел их в сторону.

В следующие несколько дней Анфиса старалась не попадаться работнику на глаза. Было у нее неясное какое-то предчувствие, что Степан не даст ей покоя. Она не могла разобраться в себе, понять, чем он ее растревожил.

— Чего избегаешь-то меня, сестрица? — остановив ее как-то в темных сенцах, спросил Степан.— Али не нравлюсь? Али слова мои не по душе пришлись? Зашла бы ко мне в боковушку, поговорим маленько...

— О чем говорить-то, Степан?

— О божественном, сестрица, о божественном...

— Зачем же идти в боковушку? Приходи к нам, втроем и побеседуем о божественном.

— Манефа мне ни к чему, потому и зову к себе. У меня для тебя есть слова особые, сокровенные. По сердцу ты мне пришлась, чего уж таиться, свет белый не мил, когда долго тебя не вижу.

— Что ты, Степан, мелешь-то? — рассердилась Анфиса.— Чина моего не уважаешь, несешь околесицу.

— Я — околесицу? — Он схватил ее за руки и притянул к себе.— Да знаешь ли, что ты во мне разбередила?

Анфиса вырвала руки и, сама того не ожидая, ударила его по щеке.

— Не гневи бога, бегун! Не оскорбляй невесту Христову!

— Бей и по этой,— он повернул к ней лицо другой стороной.

— Изыди, сатана! — Анфиса оттолкнула его и быстро вошла в комнату. Там, оглушенная, просидела она почти весь день, пытаясь разобраться в том, что произошло. Кто он, этот Степан? Почему Манефа считает его непогрешимым, а перед ней, монахиней, он даже не пытается скрыть свои греховные помыслы? Она хотела почувствовать со всей силой отвращение к нему и злость, но этого не было, и она испугалась. Она встала на колени перед киотом и долго шептала молитвы.

Всю ночь не спала Анфиса. Длинную речь придумала она. Представляла, как завтра встретит бегуна и все это ему выскажет. «А ты, оказывается, притворщик,— скажет она ему.— Вся твоя праведность гроша ломаного не стоит. Вот расскажу тете обо всем, она тебя в два счета со двора прогонит. Не будешь ей больше фальшивыми словами голову морочить».

Утром, продолжая размышлять о своем, она подумала: «А не уехать ли мне в Белую Криницу? Судя по всему, бегун мне проходу не даст. Глазища-то вчера ух как горели!» Но вспомнила тщедушного жандармского офицерика, его наглые притязания и отбросила эту мысль.

— Что так рано поднялась, моя гостьюшка? Постель не мягка или клопы кусали?

— И постель мягка, и клопы не кусали, тетечка,

только на душе что-то смутно. Схожу с вами в церковь.

— Пойдем, умница, пойдем, дело доброе, богоугодное. Душа ведь пищи небесной[1] просит. Утолим пойдем этот голод в церкви божией.

Какое-то время Анфиса почти не встречала Степана. Выходила во двор, только если его в окно не видела. Все больше за рукоделием сидела. Манефе она объяснила что мучается головными болями.

В первый день Петрова поста Манефа ушла в церковь на всенощную. Анфиса закрылась у себя и, немного повышивав, рано легла спать. Было душно. «Дождь, что ли, собирается?» — подумала она. Встала, распахнула окно и выглянула. Увидела низко нависшие тучи. Деревья и трава как бы застыли, стояли не шелохнувшись. Ни малейшего ветерка. Анфиса оставила окно открытым и снова легла. Обуревали ее мысли привычные. Думала она о своей незавидной судьбе, о том, что никому-то на свете она не нужна, кроме Тикусы, и что нет на свете человека, который может развеять ее печаль всегдашнюю. А вскоре забылась сном.

Снился ей отчий дом. Готовятся в доме ее именины справить. Отец с ярмарки только что возвратился. Гостинцев гору навез для единственной дочери. Мать с помощницами пироги печет, медовый напиток варит. А сама она в сад сходила, принесла цветов и теперь ставит букеты повсюду. Вдруг пропали цветы, исчезли родные лица. Почувствовала она, что защемило сердце и рукам вдруг очень больно стало. Вскрикнула она и проснулась. Смотрит: Степан перед кроватью на коленях стоит, изо всех сил руки ее сжимает. Как в бреду, заговорил бегун, глядя на нее глазами горящими:

— В голове у меня помутилось, сестрица. Не губи, не отталкивай, выслушай меня, несчастливого. Бежим давай отсюдова, под венец пойдем. Хоть и в никонианской церкви повенчаемся, все одно, зато вместе жить станем. Ради тебя откажусь от своей веры, забуду все. У меня руки крепкие, работать буду, совьем себе гнездышко. Не тяготило меня одиночество, а как узнал тебя — не мыслю, как одному теперь остаться можно. Не могу я жить без тебя.

— Молчи, святоша! — повелительно сказала Ан-

[1] *Небесной* — духовной.

фиса.— Не люблю притворства. Вспомни-ка, что ты напевал, когда вместе обедали. А теперь отчего песню сменил? Оттого, что хозяйки в доме нет? То-то ты осмелел, в окно к инокине ночью пробрался. А ведь хозяйка тебя скромней девушки юной считает,— она оттолкнула Степана и прислушалась: с улицы доносился какой-то шум, но она не могла понять, что это такое.

Бегун поднялся с колен, но вместо того чтобы уйти, встал перед Анфисой. В лице его была злоба.

— Для кого себя сберегаешь-то, глупая? Для попа блудливого или монаха смазливого? А я чем хуже? — Он грубо обнял ее за шею.

Не помня себя, она схватила зубами один из пальцев его руки — это был мизинец — и со всей силой сжала зубы. Что-то хрустнуло, и ее рот залило кровью. Сплевывая, она почувствовала приступ тошноты. Степан же, дико взревев от боли, отскочил от нее в сторону.

— А-а... а! Да ты наваждение бесово! — заорал он.— Из-за тебя я от веры своей готов отойти был, а ты мне зло причиняешь! Ну берегись, монашка, от судьбы все равно не уйдешь, завтра же с тобой дело кончу...— Он замолк, минуту послушал шум на дороге, метнулся к окну и исчез.

Анфиса закрыла ставни и легла. Попробовала читать молитву, но губы ей не повиновались. Сейчас она чувствовала себя совсем беззащитной, и жизнь казалась ей глубоким темным колодцем, на дне которого она обречена быть до конца своих дней.

Проснулась она от сильного стука в дверь. С улицы доносились крики и брань, цокот копыт, слышно было, как ехали машины, скрипели телеги. Она сразу вспомнила про неясный ночной шум...

Открыв дверь, увидела перед собой Манефу.

— Анфисочка, нешто ты ничего не знаешь? Война-то к нам подобралася...

Манефа была крайне взволнована и не обратила внимания на то, что лицо у ее гостьи бледнее обычного, а глаза припухли от слез.

— А Степан-то, Степан что сотворил! Каждый божеский день возносил богу молитвы, а как узнал про войну, воспользовался тем, что меня нет, и сбежал. Пока ты спала, он пошарил у меня хорошенько, и что похуже лежало — с собой прихватил.

— Неужели Степан? — спросила Анфиса.

— Он, окаянный, он! — У Манефы полились слезы.— Забрал деньги из моленной, серебряные подсвечники. И того ему мало было — на моей кобылке ускакал. Боком мне вышла, родная, моя доброта. Бог знает, что творится на свете. Защиты у меня нет, вот и обижают старуху все. Один долг не отдает, другой, не простившись и обокрав, оглобли повернул.

— Эх, тетя Манефа, а ты его до небес превозносила. Что же теперь сделаешь? Ворованного не вернешь, бегун, поди, далеко уже. Не плачь, не расстраивай себя, тетечка, сейчас посильней горе пришло — военное.

— Да, мил друг, Красная Армия, говорят, сюда идет. Погляди-ка на улицу, что делается,— Манефа открыла окно.

Обнявшись, они долго смотрели, как двигались нескончаемые колонны солдат. Румынские войска уходили на юго-запад.

Движение на дороге не прекращалось до вечера. Вслед за войсками бежали полицейские, помещики, попы, чиновники и все другие, кто боялся и не хотел прихода советских войск, кто опасался, что здесь установится Советская власть.

Манефа то металась по дому, собираясь уезжать вместе с соседями в Румынию, пряча в укромные места какие-то ценные, на ее взгляд, вещи, а то, всхлипывая и причитая, так как ей не хотелось покидать свой дом, сидела в горнице на лавке.

Анфиса же мучительно раздумывала, как ей поступить — ждать прихода русских солдат тут, в Климауцах, или идти в свой монастырь. В доме Манефы ее удерживала только мысль о том, что она может встретиться в пути с румынскими солдатами. Она уже испытала, каковы они.

Через несколько дней бежавшие было из Климауц местные богачи вернулись обратно. От них стало известно, что новая граница Румынии с Советской страной будет проходить между Белой Криницей и Климауцами. Однажды утром к Манефе пришел ее родственник. Он рассказал, что в Волчинце своими глазами видел солдат с красными звездами на пилотках.

— Придется мне уходить,— решила Анфиса.— И, видно, нужно поскорей.

Она стала собираться в дорогу.

— Вот так, сразу? — спросила Манефа.— А ты не боишься красных?

— А я вообще ничего и никого не боюсь,— улыбнулась Анфиса.— «И то правда,— подумала она.— Чего бояться? Тут оставаться нельзя, а возвращаться в тюрьму свою нет охоты».

— Кто знает, может, на погибель идешь? Мало ли что может с тобой в дороге приключиться. Как мне тогда перед Тикусой ответ держать?

— Не волнуйся, тетя Манефа, из-за нее и возвращаюсь. Я ведь ее знаю, она сейчас там без меня с ума сходит.

— Тогда подожди хотя бы сумерек. Говорят, на окраине села румыны уже свои посты выставили. Я схожу, будто бы на кладбище, и узнаю, как тебе лучше выбраться.

— Хорошо, тетечка.

*

Поздно вечером Манефа провела Анфису через кладбище за село. Ночь стояла темная, безлунная, накрапывал дождик. Движения на дорогах никакого не было, но где-то поблизости слышались речь румынских солдат и лязг оружия. Время от времени в небе вспыхивали ракеты.

— А может, вернемся? — спросила шепотом Манефа.— Еще только конец июня, пожила бы у меня до осени, лето здесь уж куда как хорошо. Тикуса станет тебя разыскивать и придет к нам. Заживем мы... Что нам до войны? Кому нужны три бабы? Может статься, нас никто не тронет.

— Что ты, тетя Манефа, хуже нет возвращаться. О Тикусе у меня мысли из головы не идут. Кроме нее у меня ведь никого нет.

— Ладно уж, иди! — Манефа вздохнула и перекрестила племянницу.— Оно, конечно, в монастыре тебе лучше будет. Дома-то и солома съедома, а в такую лихую годину и подавно.

— Спасибо, тетечка. «А не рассказать ли напоследок про ночное Степаново посещение?» — мелькнуло у Анфисы в голове. Но она тут же подумала: «К чему старушке еще эти переживания? Ей и так немало досталось».

— Передай мой поклон Тикусочке. Теперь мы будем скорей всего в разных государствах, может, и не увидимся больше.

Они обнялись со слезами на глазах, и Анфиса быстро зашагала прочь от села.

Страшно одной в поле: каждый шорох пугает, каждый кустик солдатом кажется. Примерно через час девушка впереди себя речь услышала: говорили румынские солдаты. Вернулась немного назад, пошла правее.

Вскоре узнала Варницкую балку. «Значит,— подумала,— теперь близко источник, а оттуда до Белой Криницы рукой подать».

— Стой, куда идешь? — раздалось над ухом.

— Туда,— растерянно махнула рукой Анфиса.

— Кто там? — спросил из темноты кто-то другой и посветил на нее фонариком.

— Тьфу, баба, товарищ старшина,— сказал первый и приглушенно засмеялся.— Извиняюсь, не просто баба — монашка, к тому же молодая вроде еще.

— Перестань болтать, Соснов,— приказал второй.— Веди ее сюда.

— Проходите вперед! — Соснов показал рукой, куда.

Она пошла, но сразу спросила:

— А что вы со мной сделаете?

— Иди, иди, красавица. Узнаем, что ты за фрукт, для какой надобности границу перешла. Потом отведем в комендатуру или отправим обратно.

— Я не хочу обратно.

— Вот как? — удивился второй голос уже совсем рядом и снова направил на нее свет.— С какой целью вы оказались, здесь, на границе?

— Иду в Белую Криницу, к себе в обитель.

— Кто вы такая?

— Была Анна Колосова, а ныне сестра Анфиса.

— Если два имени, значит, шпионка, товарищ старшина,— сказал со смешком шедший за ней солдат.

— Никакая я не шпионка. В Белой Кринице каждый меня знает и может обо мне рассказать. Вы только спросите.

В небе загорелась ракета, и при ее свете Анфиса разглядела обоих советских военных: Соснова — небольшого коренастого солдата и старшину с фонариком — высокого темноволосого парня.

— А документы у вас какие? — спросил старшина.

— При мне нет документов, они в монастыре остались.

— Ладно, идемте, там разберемся, прошу вперед. Соснов, оставайтесь тут и ждите смену.

Они не спеша пошли в сторону мужского монастыря. Анфиса коротко отвечала на вопросы своего спутника. В двух словах рассказала о том, как оказалась в монастыре.

— А откуда вы сейчас путь держите? — поинтересовался старшина.

— Гостила в Климауцах у тетки.

— Не знаю, огорчит ли это вас, но мужской монастырь почти пуст, осталось лишь несколько старцев,— сообщил военный — Митрополит ваш уехал.

— А жандармы, которые там были?

— Они сбежали, мы им не по вкусу. А вы нас не боитесь?

— Кабы боялась, не пошла бы.

— Теперь и для вас пришло время выбора,— улыбнувшись, сказал старшина.

— Я его уже сделала.

— Да, раз вы решили быть по эту сторону границы, назад вам ходу нет. Ну, а разве монашенкой вы захотите остаться?

— Видимо, останусь... Мне некуда из монастыря уходить. Там мой дом, моя тетка.

— Какой такой дом? Разве монастырь может быть домом? Да и попали-то вы туда, как я понял, случайно.

Анфиса не нашлась, что ответить.

Через хозяйственный двор мужского монастыря они подошли к бывшим митрополичьим покоям, где теперь размещались военные, и, поднявшись на второй этаж, вошли в одну из комнат.

— Товарищ капитан,— доложил старшина начальнику погранзаставы,— на границе задержана неизвестная гражданка, документов при себе не имеет, заявила, что она монахиня и возвращается из Климауц в Белокриницкий женский монастырь.— Чуть помолчав, более тихим голосом он добавил: — Мне кажется, ей можно верить.

— Назовите себя,— сказал капитан.

— Анфиса, инокиня женского монастыря.

— Это не вас ли разыскивает экономка? Покоя

мне не дает, требует пропуск, чтобы идти в Климауцы.

— Матушка Тикуса.

— Да, да, Тикуса. Старшина Бабыкин, пригласите экономку сюда.

— Есть пригласить экономку!

— Присаживайтесь, сестра Анфиса,— пригласил капитан.— Молодая вы, а в монастырь забрались.

— Так получилось...

— Хоть и не обязательно, но расскажите, если можно, как именно получилось?

Анфиса и капитану вкратце рассказала все о себе.

— А интересная у вас будет биография через несколько лет,— улыбнулся капитан.

Анфиса посмотрела на него вопросительно.

В сопровождении старшины пришла Тикуса и со слезами радости стала обнимать свою племянницу.

— Я непременно завтра же закажу молебен за ваше здоровье,— пообещала она начальнику заставы и старшине.

— На здоровье мы не обижаемся, матушка Тикуса, и молебен нам ни к чему.



На перепутье

Либо в стремя ногой, либо в пень головой
(русская народная пословица)

Каждый раз, приходя с Тикусой в село по хозяйственным надобностям, Анфиса с изумлением озиралась по сторонам. Площадь была забита пушками, танками, подводами. Здесь вечно толпился народ. Жители слушали рассказы солдат о советской жизни и порою недоверчиво качали головами. Нелегко им было понять новую жизнь. Но иные из молодежи прямо-таки радовались. Девчата, одетые, как на большой праздник, украдкой поглядывали на военных. Ребятишки увлеченно беседовали с красноармейцами, примеряли их краснозвездные фуражки, рассматривали оружие.

Всем теперь руководил в селе сельский Совет. Там всегда было оживленно. Однажды Анфиса услышала у сельсовета разговор, очень ее заинтересовавший.

— Румын потурили, а толку что? Землица-то еще не у нас, одна болтовня все.

— Да нет, вот-вот и до дела дойдет, мужик свое получит, не сумлевайтесь.

— Давно пора у богатеев наделы пообрезать.

— А чего ты на земельных киваешь? Землица нам не с неба свалилась. Мой дед и прадед своим горбом ее нажили, а теперь ты забрать ее хочешь!

— Ничего я не хочу, а по справедливости надо. У меня пять дочерей и три сына, а земли с гулькин нос, а у тебя и вся-то семья пять человек, а земли сколько? Семнадцать десятин! Где же правда?

— Верно. А у меня вот и всего полторы десятины, а в избе шесть ртов.

— Да мы тебе, Митрич, друг любезный, в первую очередь от монастырской земли дадим, не печалуйся! Пущай детишки сытыми растут.

— Ишь разошлись! На чужое добро рот разинули!

— О! И ты, мироед, заговорил? Тебе-то зачем столько? Сад пять десятин, пашни десять, луга, огороды...

— Замолкни лучше, рвань несчастная. Неча мое перечислять, о своем брехай.

— Ничаво, и я свое получу! А у тебя так и так поубавится, не будешь тогда шибко гордый!

В монастыре тоже вели разговоры. Судили и рядили, ахали. Игуменья, встретившись как-то с отцом Каприяном, высказала свои опасения:

— Не иначе, как приближается погибель наша...

— Да, хорошего не жди,— ответил он ей.— Большевики в бога не верят, в церковь не ходят, не молятся, а тех, кто за богом идет,— преследуют. Знаете, матушка, что дальше будет? Заберут они у нас все добро, весь хлеб и скот, все храмы закроют, а святыни уничтожат. Недаром митрополит Силуян в Румынию удалился, он это наперед угадал.

В другой раз отец Каприян сказал матушкам:

— Еще, может, все обойдется. Кто знает, вдруг румыны вернутся... Большевики тогда здесь только на осинах висеть останутся. А покамест вы своего не отдавайте.

— Землицу у нас, говорят, отобрать хотят,— сказала матушка Тикуса.

— А то как же, если и дальше так пойдет — отберут! Оставят землицу только на погосте, чтобы зарыть было куда.

— Что ты, что ты, батюшка, глаголишь-то!

Однажды Анфиса с теткой пошли в село проведать больного старца Евдокима. Когда они возвращались в монастырь, на улице раздавали газеты. Какой-то солдат и им одну сунул. Тикуса предложила выбросить газету, но Анфиса незаметно спрятала ее под апостольник. Украдкой она прочитала дома весь номер — от слова до слова. Это была «Правда». Потом она призналась в этом тетке и прочитала ей с первой страницы:

«Возвращение Северной Буковины Советскому Союзу является исторической необходимостью, ибо население этой области в своем огромном большинстве связано с Советской Украиной как общностью исторической судьбы, так и общностью языка и национального состава. Переход Северной Буковины в СССР тем более обоснован, что еще в ноябре 1918 года Народное Вече Буковины в соответствии с волей народа приняло решение о воссоединении с Советской Украиной».

Тикуса укоризненно покачала головой.

— Не дело это, душа моя, читать нам с тобой эти листки. Не для нас писано — для мирских.

— Но ведь нужно понять, что здесь творится, Тикусочка.

— Уповай на бога, дорогая, и не думай ни о чем.

Но Анфиса не могла не думать. Она видела, что все стало по-другому и прежнее не вернется.

По вечерам она с удовольствием вслушивалась в звуки гармошки. Никогда здесь не было слышно музыки, а теперь и гармошка звучала, и песни, и частушки. Запевали солдаты, а парни и девушки им подтягивали. Старики и старухи осеняли себя крестным знамением, вздыхая и ворча, что не могут уже удержать молодежь дома.

В первых числах августа привезли в Белую Криницу кино. Прибили к стене амбара большое белое полотнище, установили под яблоней аппарат и стали показывать «Чапаева». Все село сбежалось поглядеть на чудо.

Когда начался фильм, некоторые ушли, плюясь и ругаясь, но большинство осталось и смотрело на экран в сильнейшем волнении. Там шла война, мчалась красная конница, стреляли пушки и ружья. Старики от страха стали креститься, а многие на всякий случай отошли подальше от белого полотнища. Но молодые, когда фильм кончился, подходили к полотну и щупали его, расспрашивали киномеханика, пытаясь понять, откуда взялось все виденное ими.

Наделали переполоху и первые радиопередачи из Москвы. Репродуктор укрепили проволокой на двух жердях у сельсовета, и оттуда полилась музыка, потом послышалась речь. Люди по нескольку часов простаивали возле репродуктора.

— Утехи сатаны!— бранились старики, уверенные, что их хотят одурачить, склонить «к богохульству».

Монахини тоже не прочь были послушать «живой ящик». Кому это удавалось, рассказывали другим, что слышали.

А службы в церкви правились еще более усердно, еще строже соблюдался монастырский устав, больше времени, чем раньше, простаивали инокини на коленях перед образами под суровой опекой игуменьи. Но прежнего послушания уже не было. Нет-нет да и уходила какая-нибудь из сестер самовольно в село. От забора то и дело приходилось их отгонять. О белицах уж и говорить нечего. Завидно им было смотреть на веселые гулянья, которые бывали в округе по вечерам и особен-

но в воскресные дни. Солдаты с ними охотно загова ривали. Сколько у стариц было хлопот с этими вертихвостками, как они стали их называть! А еще больше старицы были озабочены другим: им мерещилось, что сестры от рук отбиваются.

Решили собрать монастырский совет.

— Ох, искушение, ну и искушение!— жаловалась на совете игуменье матушка Феофания, которая теперь стала уставщицей монастыря.— Вчера прямо под монастырской стеной пляски устроили. Так наши белицы, а за ними и сестры иные из келий повысыпали и на заборы, бесстыжие, залезли. Дай им волю, так и сами пойдут в пляс. Сестра Агния на ту сторону перелазила, с солдатом стояла.

— Епитимью на нее, епитимью!— настоятельница от злости чуть не поперхнулась.— Тысячу поклонов! Пусть поутру и ввечеру, целыми сутками молится.

— А сестра Василиса, матушка, самовольно в село уходила, а что там делала, говорить не хочет,— доложила Касьяния.

— В кладовку ее, на хлеб и воду!— разошлась игуменья.— Пусть другим неповадно будет.

— Ох, благодетельница, не хотелось расстраивать тебя,— прошепелявила одна из соборных матушек,— да как не сказать — сестра Марфа ушла из обители совсем...

У Поликсении опустились руки. Растерянно помолчала она, но потом опять раскричалась:

— Отлучить Марфу от церкви! Проклянем срамницу!

— Уж верно, что стыд потеряли вовсе,— уставщица Феофания стукнула посохом.— Приструнить их надо, приструнить, а то, глядючи на них, и все разбегутся.

— За ограду не выпускать!— распалилась казначейша.— Пусть по кельям сидят, а в храм и из храма ходят вместе с матушкой Феофанией.

— А в поле и на покосе кто работать станет?— не выдержала Тикуса.— Может, матушки эту работу осилят?

— Мужиков нанимай, как раньше бывало,— сердито бросила игуменья.

— Что вы говорите-то, матушка! Уж пора бы понять, что у новой власти другие порядки,— возразила Тикуса.— Я слышала, что землю теперь должен обраба-

тывать тот, кому она принадлежит. Мужиков не наймешь — запрещают.

— Не знаю, милая, не знаю, сама что-то придумывай,— поджала губы Поликсения.

— Придумывать нечего, пшеничка уже переспела, вот-вот осыпаться начнет.

— Тогда веди сестер под присмотром соборных матушек.

— Так ведь глаза-то им не закроешь, все равно вылупятся,— заметила Феофания.— А как быть, когда к ним солдаты, к примеру, подойдут?

— На глаза пусть камилавки опустят. А лясы точить с солдатами не посмеют, коли им внушить построже.

— А не лучше ли просто завязать им глаза?— засмеялась Тикуса.

— Чем зубы-то скалить, лучше бы ты за своей племянницей приглядела. Чего она мимо солдат в библиотеку каждый божий день бегает, будто ей делать больше нечего?

— Будто вы не знаете, матушка, что Анфиса книги спасает. Повытаскивали их жандармы на улицу увезти хотели, да не успев, там и бросили. Может, прикажете солдатам отдать на цигарки?

— Тьфу на тебя! Какая ты, право, стала, слова в простоте не скажешь, все только с насмешкой.

На другой день монахинь с серпами и косами повели на жатву. Солдаты вышли на улицу на них поглядеть. Впереди шли матушки Тикуса и Касьяния. По краям шествия семенили, задыхаясь с непривычки от быстрой ходьбы, соборные матушки, а замыкала его уставщица. Монахини молчали, но весело улыбались и переглядывались.

Когда вечером возвращались в обитель, солдаты подошли совсем близко и заговорили с сестрами. Те отвечали на их вопросы и смеялись в ответ на шутки. Наконец, даже остановились, и, как ни пытались матушки помешать разговору, ничего у них не вышло. Тикуса, видя, что сестры не спешат к вечерней службе, отошла от них и, не чувствуя под собой ног от усталости, направилась к монастырю. За ней пошли и матушки, зло переговариваясь.

Когда примерно через час инокини вернулись, у ворот с грозным видом их ждала игуменья с толпой стариц. Всех трудниц заперли в церковь молиться на всю

ночь. Они негодовали: целый день трудились, не разгибая спины, чтобы не пропало монастырское добро,— и такая награда!

Тикуса это наказание сочла за безумие.

— Какие из них завтра жнеи, если они, вместо того чтобы выспаться, всю ночь на коленях простоят!

— Ничего, милая, нужно отбить у них охоту позорить обитель,— высокомерно ответила матушка Поликсения,— какая слава о ней пойдет, если и дальше так будет?!

Однако в глубине души игуменья чувствовала себя сраженной. «Что делается, что творится? Что бы мы ни делали, видать, мы бессильны,— с ужасом размышляла она.— Время такое пришло: на преданных нашей вере — напасти разные, а брадобритым этим, антихристову отродью — раздолье!»

Стала матушка Поликсения сама на поклоны. Молилась и молилась о спасении душ заблудших, коим дьявол соблазны чинил, но не оставляла ее, отравляла горечью мысль: «И что я, к чему в таком преклонном возрасте себя не жалею, о них пекусь? Верно, не избежать мне и завтра такого. Искушение большое, а вера слабеет день ото дня. И расползается все шире этот зловредный огонь, а упустишь его — не потушишь».

А сестре Анфисе совсем в монастыре опостылело. Во всем-то она разуверилась, нигде отрады не видела. Матушки, с их ханжеством и привычкой к безделью, с одной стороны, и к помыканию сестрами, с другой, ей стали до невозможности отвратительны. Хоть бы не видеть их никогда! Так нет — каждый день встречайся с ними, не забудь обязательную дань поклонам, слушай, как они ворчат или надрывно выговаривают то одной, то другой сестре. А как они наставляют «на путь истинный»? Все одно и то же — или епитимья, или унизят при всех, обвинят в том, чего и не было,— со страху перед новой жизнью им невесть что мерещится.

«Ни одной души нет, кому бы моя жизнь интересна была»,— печально думала Анфиса. А у самой перед глазами все старшина стоял, ободряюще улыбался. Как это он ей сказал, когда они во дворе монастырском встретились? «И чужая вы мне, а не думать о вас не могу. Кругом жизнь кипит, а вы тут киснете. Молодость ваша вам подсказать должна, что отсюда вы-

рваться вам необходимо. Ну и что, что нет никого родных? Вы посмотрите, сколько людей вам родными станут, лишь только первый шаг из монастыря сделаете!»

— Что опять заскучала, родненькая, или болит что?— спросила племянницу экономка.

— Ничего не болит, Тикусочка, а тошно мне: никакой-то радости у нас с тобой нет! Дышим, ходим, а если разобраться — живем попусту. Ну скажи ты мне, для чего живем?

— Ох, зачем ты грешным мыслям-то поддаешься? Нехорошо это, маков цвет, гони их от себя. Наша жизнь богу угодна, он нас и благословляет, а роптать грешно, ох, грешно. Да у тебя, поди, *и другое* на уме есть.

— Что именно ты имеешь в виду?

— Да что, заметила я на днях, как ты со старшиной-то своим во дворе стояла. Хорошо хоть другие тебя не видели.

Забилось сильно сердце у Анфисы.

— Так что, что стояла? Мы ведь знакомы теперь. Он меня про житье-бытье спросил.

— Оттого ты и раздумалась про житье-то?

— И оттого тоже, Тикусочка, а больше потому, что невмоготу мне здесь оставаться. Давно я уже поняла, что никогда не смогу притерпеться. Я и раньше хотела тебе сказать об этом, да зряшный был бы разговор: семьи нет, уйти некуда... да и тебя жаль одну оставить.

— Ты меня пугаешь, маков цвет. Я знаю, это старшина тебя смущает. И чего он в твою жизнь мешается? Как будто не видит твоей мантии. Уж не мечтает ли он ее скинуть да суженой тебя назвать?

— Скажешь тоже, Тикусочка,— тихо сказала девушка, вся вспыхнув.

— А... вот видишь, как тебя задело! Люблю я тебя, голубь ты мой, а любящее-то сердце вещун. Да ты не слушай его, мало ли что он наскажет. Славны бубны за горами, а как отведаешь чужого хлеба, так и горько может стать. В миру-то тебя, сиротинушку, каждый может обидеть, и некому на ту обиду будет ответить.

Но прошло некоторое время, и Анфиса опять со старшиной встретилась.

— Мы в сарае два ящика с книгами нашли,— сообщил ей Бабыкин,— не хотите ли взглянуть? Это ваши, старообрядческие.

— Нужно их в библиотеку отнести.

— В таком случае через несколько минут мы их туда и доставим. Вы сейчас там будете?

— Да,— ответила Анфиса еле слышно и пошла в библиотеку. У нее в глазах темнело от волнения.

Когда Бабыкин с каким-то солдатом занес оба ящика, солдат ушел, а старшина, улыбаясь, спросил:

— Как, сестра Анфиса, помните наш разговор?

— Разговор помню, много дум передумала, но сказать пока ничего не могу.

— Как не могу? Если вы боитесь, что жить вам будет негде, то напрасно. Я понимаю, что в дом вы вернуться не можете — из-за брата-сектанта. Но пусть вас это совсем не тревожит. И жилье, и работу вам найдут. Решитесь только наконец.

— А что?— вдруг сказала даже неожиданно для него.— И решусь! Давно этой мыслью мучаюсь, надо наконец и дело делать. Вот только Тикуса одна останется, ее жалко, у нее тут вся жизнь.

— Тикусу вы видеть сможете, а понадобится — и поможете ей. Только уже назад не отступайте. Давайте договоримся так: я скажу, кому надо, о вашем согласии уйти из монастыря, мы к этому событию хорошо подготовимся, и тогда подумаем, когда лучше всего вам сделать этот шаг. А вы за это время подготовите матушку Тикусу, чтобы для нее это не было неожиданностью. Я же зайду к вам на днях, и обо всем договоримся окончательно.

Как в тумане была Анфиса после ухода Николая Бабыкина. Чувствовала она, что этот человек вошел к ней в сердце да и остался там.

На границе было неспокойно, и Николай долго не появлялся. Анфиса не отходила от окна. Иногда ей становилось страшно — уж не убили ли его там? Каждую ночь за Варницкой балкой стреляли.

Однажды она увидела, как привезли на повозке двух раненых солдат. Выйдя во двор, она узнала, что стрелял в них из охотничьего ружья кабатчик, который собирался бежать с женой в Румынию. Границу переходили ночью, двигались ползком. Однако их заметили двое пограничников и пошли следом. Кабатчик первый выстрелил, и завязалась перестрелка. Оба пограничника

были ранены. Тут еще румыны стали палить. Одна из пуль попала в жену кабатчика. Он все же ускользнул, а ее похоронили на сельском кладбище.

Пришла Анфиса в свою светелку ни жива ни мертва. Тикуса и так и эдак с ней заговаривала, а та словно бы и не слышала.

— Что с тобой, маков цвет? Ровно ты не в себе...

— На границе-то беспорядки, Тикусочка, только что двух пограничников полуживых привезли.

— А чего тебе эта граница далась?— вроде бы удивилась тетка.

— Вдруг и со старшиной что случилось?

Поняла матушка Тикуса.

— Что ты, что ты, выбрось-ка это из головы. Ты инокиня, а о том забываешь. Ну что из вас за пара — гусь да гагара? Замутил он тебе голову.

— Да он ни при чем, Тикусочка. Это я покоя себе не нахожу, вообразила невесть что. Что ни говори, а не побороть мне себя,— Анфиса залилась слезами.— Только его и вижу, только о нем и думаю.

Помолчала Тикуса. Заныло у нее сердце от предчувствия. Обняла племянницу.

— Ну успокойся, успокойся, твоя печаль пройдет, вот увидишь. Чую я, что не жить тебе больше со мной, улетишь ты на простор людской и ко мне уже не воротишься. Уж коли апостольник тебя душить начал, надо и вправду, пожалуй, выйти тебе из монашества.

Анфиса бросилась тетке на шею.

— Ладно, ладно... Вот видишь... а как горевала, бедняжка! Приедет твой старшина и начнет о тебе печься вместо меня, потом и свадебка сладится.

— Если бы так!— вздохнула девушка.— Но мне кажется, что он только помочь мне хочет, а до свадьбы дело никак не дойдет.

— Э, голубь мой, не вводи-ка старуху в заблуждение. Уж я видела, как вы во дворе-то стояли, какими он на тебя глазами поглядывал. Мне все тогда открылося. То-то и оно, недаром у нас в селе говаривали, что суженого и на коне не объедешь. Глаз у меня зоркий, вижу далеко. Будешь ты, голубь мой, будешь счастлива, поверь.

— Ох, Тикусочка, не знаю. Трудно мне представить, как я без тебя буду.

— А ты, душа моя, не горюй. Жила же я без тебя

одна — и дальше так буду. Только бога-то не забывай, молись каждый день.

Анфиса промолчала.

— Спасибо тебе, что душу свою от тетки на замок не закрываешь,— с теплотой в голосе продолжала экономка.— Я уж давно за тобой наблюдаю и все ждала этого разговора. Жаль только, что старшина твой бога не признает. Но ты в этом не уступай ему.— Тикуса была уверена, что племянница с ней согласна, а та, глядя на усталое лицо и запавшие глаза ее, не перечила, не желая ее разочаровывать.— Раньше я бы в ужас пришла от такого поворота, но сейчас и я уже не та, смотрю на все иными глазами. Мантию сбросить не шутка, но на все божья воля.

— Ты, Тикусочка, не переживай за меня, я крепкая теперь, через многое прошла.

— И то правда, родная,— согласилась тетка.— За одного битого двух небитых дают не зря.— Задумавшись, она сказала:— Намедни, маков цвет, старшина у меня сенокосилку просил. Понравился он мне: обходительный такой и из себя видный.

Через неделю Бабыкин вернулся с границы и сразу же зашел в библиотеку. Радость играла у него на лице. Поздоровавшись, он сообщил Анфисе, что в сельсовете есть разнарядка на курсы медсестер.

— Я договорился с председателем, что вы, уйдя из монастыря, поедете на эти курсы в Черновицы. Занятия с первого сентября.

— Через неделю, значит?

— Да, через неделю. Уходить вам надо немедленно.

Анфиса кивнула. Смущаясь, она сказала:

— Мне кажется, что я смогу стать медсестрой, медицина мне интересна. Только я тут от людей отвыкла.

— Ну, это не страшно. Привыкните быстро. А вот давайте-ка обсудим подробности...

И долго сидели они, беседуя, пока он не поднялся, сказав, что нужно идти по срочным делам. Девушка в это время забыла обо всем на свете. Не было для нее сейчас ближе человека, чем этот военный, который занялся ее судьбой и уверял, что это его долг. Прощаясь, они условились о встрече на другой день вечером. Ба-

быкин к тому времени должен был точно узнать, где она будет жить и как получит гражданские права.

Когда он ушел, Анфиса пошла в свою светелку и бросилась на постель. До вечера пролежала она как в забытьи. Картины ее жизни то и дело мелькали перед ней. Весь свой короткий невеселый путь она как бы прошла снова. Вспомнила детство в семье, где никогда не было согласия; учение в гимназии имени «Домники Иляны», где не смогла завести подруг, так как все гимназистки жили в своих домах, были с малых лет друг с другом знакомы, а она жила на квартире у суровых староверов, ни к кому не смела пойти, не знала развлечений и только с книгами отводила душу; и это тяжкое прозябание в обители... Смутно представляла она, что будет с ней через неделю, через месяц... но когда думала о будущем, радость почему-то волной заливала ее. Кончатся, кончатся эти несносные службы, не увидит она больше лицемерных матушек, избавится от этого серого, тягостного существования.

Однако губы ее время от времени шептали «Черновицы...», и тогда ей становилось так больно, так больно... Что за этим словом кроется? То, что она уедет на курсы и Николая больше не увидит? Но она не сможет такого вынести. Больше всего на свете она боялась, что этот человек уйдет из ее жизни, уйдет так же внезапно, как и появился. «А может, не исчезнет?— спорила она с собой, чтобы немного ободриться.— Узнает, как мне дорог, и не оставит меня? Разве не возможно, что он приедет в Черновицы и там останется?» Но она вспоминала, что в мире неспокойно, где-то идет война, и снова начинала метаться в страхе.

Несколько раз заходила Тикуса, но Анфиса тогда делала вид, что крепко спит, и та, покачав головой, выходила.

Наконец она нашла в себе силы, встала и пошла к Тикусе. Тетка, решив, что она заболела,— иначе почему на щеках нездоровый румянец и глаза как-то странно блестят?— принялась отпаивать ее липовым чаем с медом.

— Как мне хотелось видеть тебя, маков цвет, а ты все спишь и спишь. Уж не инфлюэнца ли у тебя, не приведи господь? Уж больно разрумянилась. Ты вот чайку попей да и опять пойди ляг. К утру, глядишь, все и пройдет. Не терпелось мне новость тебе передать:

сегодня обитель покинули, подались в родные места счастья искать сестры Агния и Филосада. А из мужской обители молодой послушник ушел — недоглядел епископ Софроний. Что делается! Если и дальше так пойдет, совсем у нас скоро пусто станет.

Очень хотелось Тикусе расспросить племянницу о том, когда *ее* черед придет, да пожалела и спать отправила.

На другой день Анфиса сразу после утренней службы пошла в библиотеку. Перебирала книги, словно бы прощаясь с ними, но читать не могла. Волнение ее не унималось, часы казались долгими, как никогда, тянулись и тянулись. После обеденной трапезы — все то же.

Еле дождалась она вечера. Окинула прощальным взглядом полки с книгами, поглядела на застекленные шкафы с не имевшими цены фолиантами. Будет ли все это в сохранности, когда здесь кто-то другой станет хозяйничать? Сколько здесь ее труда вложено!

Матушки Тикусы дома не оказалось. Взялась Анфиса за ведро и тряпку, помыла полы, вытерла пыль, прибрала дом, как перед праздником. Потом погладила свои старенькие платья, которые из дома захватила с собой, когда уходила, сложила их в саквояж. Только села передохнуть — пришла Тикуса с матушкой Феофанией. Обе стали ее просить:

— Завтра большой праздник — Успение[1]. Ты уж не откажи, Анфисочка, спой сегодня во время вечерни «Плач богородицы».

— Нездоровится мне что-то,— попыталась она отговориться.

— А Тикусочка сегодня радовалась, что тебе получше,— сказала Феофания. Ты уж превозмоги себя, если можешь, спой, а завтра мы тебя беспокоить не станем. Даже на службу не пойдешь.

— Но как кончу петь — удалюсь, вы уж в обиде не будьте.

— Хорошо, милая, хорошо,— согласились старушки.

До вечернего богослужения оставалось полчаса. Анфиса расставила певчих, сделали пробу. Как только начетчица прочитала нужный канон, началось пение.

---

[1] *Успение* — праздник в воспоминание о смерти мифической божьей матери.

Первым голосом вела Анфиса. Ее нежное сопрано звучало сегодня особенно трогательно и волнующе. Его чистые сильные звуки взлетали до самого купола и возвращались оттуда к молящимся.

Но вот все смолкло, и в храме ненадолго установилась тишина. Анфиса, чувствуя слабость в ногах, окинула взглядом с клироса церковь. Она заметила, что некоторые сестры плакали. Она тоже глотала слезы, чувствуя стеснение в груди. Ей хотелось крикнуть, что есть силы крикнуть инокиням: «Уходите отсюда, пока еще не поздно! Ведь это преступление — заживо похоронить себя здесь!» Но язык будто прилип к гортани.

— Пойдем-ка со мной, маков цвет, пойдем,— тетка взяла ее за плечи и повела к выходу. Она открыла ей дверь. Анфиса поклонилась матушкам и молча вышла. Тикуса осталась в церкви до конца службы.

Часы на колокольне митрополичьего собора пробили десять. С трудом отперла инокиня заржавевший замок, осторожно открыла калитку. Вот увидели бы ее сейчас монастырские: шума-то понаделалось бы! Устав нарушила, за ворота вышла.

На пустоши, зажатой между оградой монастыря и большим оврагом, темно, жутко. Анфиса огляделась. Сквозь ветви столетнего дуба был виден небольшой пруд, где-то далеко мелькали огоньки соседнего села.

Из кустов вышла фигура в темном. Анфиса и Бабыкин в нерешительности остановились друг против друга. У нее зуб на зуб не попадал, то ли от холодного вечернего воздуха, то ли от волнения и внутренней дрожи. Николай шагнул к ней, взял ее за руки и тихо заговорил:

— Ты молодец, Аннушка! Позволь, я буду называть тебя твоим девичьим именем. У нас полный порядок. Заночуешь завтра у фельдшерицы, жены нашего замполита. Она женщина добрая, отзывчивая. А как закончишь курсы, будешь вместе с ней и работать. Она очень хочет с тобой познакомиться. В полдень она придет в сельсовет вместе с женой начальника заставы Марией Васильевной Гуляевой. Они оформят тебе документы. Обе женщины уже наслышаны о тебе и хотят тебе помочь. Что молчишь? На попятный не пойдешь?

Анфиса покачала головой. От этого неожиданного

«ты», от уверенной речи и приветливого взгляда старшины у нее неистово колотилось сердце.

— Ну вот и славно, в добрый час!

— А вы там будете, Николай Дмитриевич? Чтобы было не так страшно.

Бабыкин улыбнулся.

— Вы далеко не из пугливых, я в этом убедился. И не зовите меня по отчеству — просто Николай. Послезавтра вас отвезут уже в Черновицы,— сказал он,— и, может быть, мы с вами долго не увидимся. В общем, я обязательно приеду.

Он хотел ей сказать еще что-то, но на границе возле Климауц загорелись красные ракеты.

— Тревога! Мне надо идти, а ты...— Он порывисто взял ее руки в свои и, вдруг заволновавшись, притянул ее к себе, ласково коснулся волос и быстро зашагал к дороге. На ходу обернулся и негромко крикнул:

— Думай только о будущем, ладно? Я твой друг! Поняла? Я... твой... друг... Слышишь? Друг! До завтра!

Анфиса проскользнула в калитку и попыталась закрыть замок, но пальцы ее не слушались. Наконец ей это удалось, и она, еле передвигая ноги, пошла к дому. Через каждые несколько шагов она останавливалась, пытаясь справиться со своими чувствами. Она трепетала от восторга и только что пережитых чудесных мгновений и подкатывающего то и дело страха потерять чистый чарующий источник, питающий ее надежды...

Со стороны границы сюда доносились выстрелы и лай собак, и от этих звуков внутри у нее похолодело. Значит, опять что-то случилось? И Николай уже там, опять рискует своей жизнью?

Тикуса еще не спала. Она была в моленной и усиленно молилась перед образом Спаса.

— Ах, маков цвет, на дворе-то как темно, на границе палят, а ты за ворота не боишься выходить.

— Откуда ты узнала, милая моя Тикусочка?

— О! Откуда... Не велика хитрость узнать, коли ключа нет на месте. В нашем доме никто, окромя тебя, взять его не мог. Признайся уж, отступать тебе некуда, со старшиной виделась?

— От тебя ничего не скроешь, Тикусочка,— Анфиса обняла старушку и прижалась щекой к ее щеке.— Пришел мой час, последнюю ночку осталось провести здесь, а завтра не будет уже меня в обители.

Тикуса всплеснула руками.

— Так скоро? Да что же это такое делается? — Она обессиленно села на лавку.

— Пойдем со мной, Тикусочка! Давай вместе начнем другую жизнь, вырвемся из этого заточения, из этого гадкого царства, где ни воли, ни радости ни одной душе. Представь только: попадем в город, с людьми хорошими познакомимся. Заживем, как нам и не снилось. Ну подумай, Тикусочка, подумай, что ты замечательного в своей жизни видела? А увидишь немало, если только решишься. Ну не молчи, скажи скорей, пойдешь со мной? Да говори же!

Слезы капали у Анфисы из глаз. Она не верила, что тетка поддастся на ее уговоры, но тем не менее боялась услышать от нее отказ. Она любила ее и жалела всем сердцем.

Тикуса встала.

— Вот что я скажу тебе, душа моя. Успокойся и пойдем-ка спать. Чую, что день тебе завтра предстоит нелегкий. Нужно к утру легкие ноги и свежую голову иметь. Ну, а что до меня, так я тебе еще намедни сказывала: моя жизнь корешком вросла в обитель, вырвешь ее отсюда — тотчас зачахнет. Богу угодно, чтобы разошлись наши дороги. Что ж! Зато бог же и свидетель, что твоему счастью я не помеха. Конечно, старость не красные дни и тяжко, что и говорить, остаться снова одной как перст, да грешно лишнее-то болтать по этому поводу. Чему быть, того не миновать, наш спаситель это видит, допускает, значи, нечего противиться. Так что не мучай ты, голубь мой, ни себя, ни меня, а ложись да спи спокойно.

— А ну как набросятся на тебя матушки-то за мой уход?

— Да уж пускай их, выдержу небось.

— А все же могут заклевать тебя, Тикусочка. Уехала бы ты из обители! Ну хоть на короткое время. Тогда с тебя и спроса бы не было.

— Хорошо, маков цвет, хорошо. Хоть в этом тебе потрафлю. Что-нибудь да придумаю, это нетрудно, — она потерла ладонью лоб. — И тебя хочу предупредить — уходи скрытно, в одиночестве. Не хочу, чтобы тебе вслед проклятья неслись. А теперь ложись все же, посмотрела бы ты на себя — бела, как стенка.

* * *

Ранним утром следующего дня экономка женского монастыря уезжала по обительским делам в районный центр Глыбоку. Поездка эта была придумана ею для того, чтобы не началили ее потом матушки за то, что не доглядела за своей племянницей. На крыльце келарни стояла казначейша Касьяния, справляя отъезжавшей прощальные поклоны, вышли во двор сестры, чтоб проводить Тикусу. И матушка Поликсения вышла из своих покоев. Она наказала побывать у верных людей, разузнать, не прикроют ли монастырь, не ждать ли какой беды. Только Анфисы не было: она простилась с теткой дома, без свидетелей.

Когда Тикусины дрожки выехали за село, в монастыре началась служба. Поскольку это был день Успения божьей матери, она тянулась долго, почти до полудня. Во время службы и ушла из монастыря Анфиса. Никто ее не хватился, так как все были уверены, что она приболела и лежит в своей светелке.

Точно по незнакомой, шла она по сельской улице. Летнее солнце ярко сияло, пахло свежескошенной травой и яблоками. Маленькие ребятишки, возившиеся на пыльной дороге, с удивлением смотрели на нее. Но вот и сельский Совет. Он разместился в доме, который принадлежал прежде одинокому скупому богачу Савельеву, умершему незадолго до прихода Советской власти. Дом по наследству перешел к дальнему родственнику Савельева — небогатому работящему мужику Григорию Самсонову. Кроме дома, он получил еще бакалейную лавку, пару лошадей и несколько сундуков с разным добром. Но мало пришлось попользоваться Самсонову всем этим. Дом и излишки земли после образования Советов у него забрали, и он остался жить в своем старом доме.

Подходя к сельсовету, девушка увидела: стоит на крыльце Николай с молодой женщиной, а рядом какие-то другие люди переговариваются. Заволновалась она, ноги стали подкашиваться.

Вот заметили ее, пошли навстречу. Люди жали ей руки, приветливо улыбались, старались подбодрить. Она несмело отвечала, еле раздвигая пересохшие губы.

— Знакомься, это Оля, фельдшерица, жена замполита заставы,— сказал Бабыкин,— я тебе о ней гово-

рил. А вот и Мария Васильевна спешит к нам. С ней ты тоже заочно знакома.

К ним подошла невысокая женщина лет пятидесяти, на вид крепкого сложения, ласково посмотрела на Анфису темными глазами, обняла ее.

— Что ж, нашего полку прибыло. Пойдем, дорогая.

Все зашли в сельсоветский дом. Председатель сельсовета Автоном Меркулов, седой коренастый мужчина лет шестидесяти, вышел из-за стола навстречу Анфисе и крепко пожал ей руку. Когда расселись, председатель попросил соблюдать тишину и громко спросил Анфису:

— Мне сообщили, что вы добровольно отрекаетесь от монашества. Правда это?

— Да, я не могу больше быть инокиней.

— Скажите нам, не было ли с чьей-нибудь стороны давления на вас или принуждения?

— Нет, не было. Я сама пришла к такому решению.

— Можете вы объяснить причину вашего желания?

— Я разуверилась в необходимости иноческого жития и, не чувствуя в себе крепкой веры в бога, не вижу смысла в затворничестве. А попала в монастырь не по убеждению, а потому, что оказалась в безвыходном положении. Мне тогда было семнадцать. Отец хотел меня силой выдать замуж за богатого старика. И я решила убежать, а бежать было больше некуда — вот и попала в монастырь к тетке. А сейчас я хочу жить, как все люди, каким-нибудь делом заниматься.

— Товарищи члены сельисполкома, есть ли у вас вопросы к девушке?— спросил Меркулов.

— А что именно вы хотели бы теперь делать?— спросила одна из женщин.

— Я хочу просить сельский Совет послать меня на курсы медицинских сестер. Мне кажется, что я справлюсь, хотя и давно не брала учебников в руки.

— Еще вопросы есть?

Больше вопросов не было.

— Ваша просьба будет удовлетворена,— сказал торжественно председатель.— Отныне вы советская гражданка, от души поздравляю вас. Мы все, здесь собравшиеся, поздравляем вас. Желаем вам удачи с первых же шагов. Не робейте, прошу вас, и все будет хорошо. Прошу вас помнить, что этот день — большое, радостное событие не только для вас, но и для каждого здесь сидящего. Смело обращайтесь за советом и помощью к

любому, если будет нужно,— и для вас сделают все возможное. А сейчас скажите нам: фамилию вы себе свою прежнюю оставляете?

— Да.

— Имя и отчество?

— Пусть будут те же.

— Значит, получите документы на имя Колосовой Анны Анисимовны.

Автоном Меркулов кивнул головой секретарю сельсовета, и тот заскрипел пером.

— А вы, Аннушка, пока выписывают документы, можете переодеться в соседней комнате,— предложила Мария Васильевна. Она подошла к девушке и поцеловала ее.— Примите и мои поздравления. А здесь все, что вам нужно,— она вручила ей большой сверток.

— Спасибо, у меня тут все есть,— Аннушка показала на свой саквояжик.

— Ничего, ничего, берите, пригодится и это.

Но девушка решила надеть то голубенькое шелковое платье, которое она сняла три года назад в Покровском храме во время своего пострижения.

Торопясь, она скинула такой ненавистный ей темный апостольник, за ним мантию, заплела волосы и дрожащими руками натянула на себя платье. Мария Васильевна смотрела на нее как зачарованная.

— Никогда не видела, чтобы человек так быстро мог преобразиться. Да вы просто красавица! И столько времени прятали себя в монастыре. Уму непостижимо!

Когда Аннушка вернулась, все ахнули. Вышла монахиня — зашла миловидная сероглазая девушка. Девушка была как во сне. Какие замечательные лица, и каждое ей улыбалось. И это ради нее пришло сюда столько людей?! А сколько хороших, теплых слов они ей сказали! В обители она за все годы добрых слов ни от кого, кроме Тикусы, не слышала. Сестры были каждая сама по себе, а ей многие завидовали и потому особенно не любили. Она с восхищением смотрела то на одного, то на другого, улыбалась им в ответ, но слов не находила. Ее переполняла благодарность.

— Прошу тишины, товарищи!— председатель взял слово.— Мы с вами сегодня являемся свидетелями того, как входит новый член в наше общество. Гражданка Колосова Анна Анисимовна, получите паспорт и направление в Черновицы. Мы все надеемся, что уче-

ние будет вам по плечу и вы достигнете успехов. Надеемся также и на то, что вы станете счастливым человеком и будете, в свою очередь, добиваться счастья для других. Если после окончания курсов вы приедете работать и жить в наше село — для нас это будет огромная радость. Приезжай, Аннушка! Медикам в селе всегда много дела, но зато и почет какой!

А потом уже другим, доверительным тоном Автоном Меркулов сказал:

— Смотрю я на тебя, дочка, и думаю: если человек из тьмы к жизни возвращается — это наша победа. И какая победа! Слава всем, кто новую жизнь строит и себя для того не жалеет! Приобщайся, дочка, к новой жизни. В добрый час!

Из сельсовета все пошли к Ольге Ивановне. Тесно уселись за столом и долго, весело обедали. Здесь и Аннушка разговорилась, не то что во время церемонии. Строила вместе со всеми планы своей жизни, записывала адреса, по которым она сможет писать. Хозяйка была довольна больше всех. Шутила:

— Страшно мне мою будущую помощницу отпускать в город. А ну как замуж сразу выскочит, с кем мне тогда работать?.. Она ведь у нас вон какая, гляди — не наглядишься.

Кто-то завел патефон, и несколько пар пошли танцевать. Бабыкин, сидевший далеко от Аннушки, подошел к ней, присел рядом. Ее бросило в жар. Ждала она слов от него необыкновенных, горячих. Но он заговорил об ее завтрашнем отъезде, о своей службе, о делах в селе и на границе. И только посматривал на нее как-то особенно, немного грустно и так внимательно, словно хотел надолго запомнить ее нежное лицо с сияющими от счастья глазами.

Сестра Анфиса к общей трапезе после службы не вышла. Послали белицу отнести ей еду в светелку. Светелка оказалась пуста, и это всполошило всю обитель. Бросились искать повсюду, но безрезультатно. Потом прибежала старуха из села, одна из самых преданных монастырю, и рассказала о публичном отказе Анфисы от иночества. Игуменья пришла в бешенство, запричитали старицы. Уж они ли не пригрели эту неблагодарную? Уж ей ли не было всегда поблажек и льгот особых? Уж ей ли, за ее чудесный голос, не был всегда почет?

Собрали монастырский совет, долго не могли ничего решить и наконец послали за экономкой в Глыбоку.

Тикуса приехала только к вечеру другого дня. Охая и всхлипывая, выслушала она печальную новость и тут же обрушилась с упреками на соборных матушек, на уставщицу, на сестер.

— Эх, вы! Ведь и всего-то на два дня уехала, а вы уж не могли уберечь свою же сестру. Где глаза-то ваши были? Как мне теперь, горемычной, век свой коротать, а? Я вечно о ваших животах пекусь, а вы, этакие, не хотели даже присмотреть за моей племянненкой. Ну спасибо же вам, спасибо, нечего сказать, хорошо вы мне платите за заботы.— Она заплакала. Ей и в самом деле было тяжело не видеть, как обычно, свою племянненку, сознавать, что в своем домике она теперь будет всегда одна. Кроме того, она не была уверена, что единственный близкий ей человек устроится хорошо, и потому ее не покидала тревога.

Матушки, как и ожидала Тикуса, стали оправдываться, что упустили Анфису из виду не преднамеренно, а потому, что уставщица сообщила о ее недомогании.

— Ты же знаешь, что самочувствие у нее было неважное,— сказала та.

— Молчи уж лучше, Феофания!—топнув ногой, воскликнула Тикуса.— А я бы слегла — и обо мне позабыли бы? В такой-то праздник еще до службы могли бы к ней заглянуть. Да нет, вам, матушки, ни до кого нет дела, вы никого не любите, каждый вам плох... Сманили мою племянненку, так и других — уж вспомянете мое слово!— сестер сманят.

— Помилуй, что ты несешь, Тикуса, типун тебе на язык,— сердито заворчала настоятельница.— Как есть, не права ты. Теперь мы должны особое рвение явить, удержать всех инокинь от соблазнов сатаны. Он их беспутством прельщает, веселую жизнь сулит, а мы супротив того дадим примеры воздержания небывалого, покаяния усиленного, молений не токмо каждодневных, но и еженощных. Ты *то* учти, Тикусочка, что из села к нам доходят разные отголоски, и все такие худые, такие худые... В одну избу там народ созывают и читают им книги от нехристи, отучают от слова божия, завлекают посулами. Кто побогаче, у того добро отбирают, а кто вовсе нищий был — того наперед выставили. Да что этому дивиться? Спокон веку здесь тишь была во всей

округе, а нынче солдатня песни то и дело горланит, а молодые девки и парни стараются не хужее быть, тоже горла не жалеют, толпой ходят. Гулянки вона ак им полюбились! Старшие-то силятся остановить негодников, да разве их остановишь!

— А что с наследством-то будет, Тикусочка?— заискивая, спросила казначейша Касьяния.— Наследство сестры Анфисы еще не все истрачено.

— Пусть остается в обители. Раз убежала — значит, отказалась от него, так надо понимать,— ответила экономка, усмехнувшись про себя. Она с удовольствием вспомнила, что незаметно от племянницы положила в ее саквояж, на дно, под вещички, мешочек, в котором была половина ее сбережений.

Лицо игуменьи разгладилось: эти слова ей понравились.

Пришел ноябрь. У Аннушки, уже привыкшей к новой жизни, появились подруги. Она жила с ними в одной комнате общежития, находившегося в старом здании бывшей духовной семинарии, и почти не разлучалась: вместе на курсах, вместе в библиотеке, в кино, на прогулке...

Девушки не знали ее истории и первое время очень удивлялись, когда она по каждому пустячному, на их взгляд, поводу выказывала неожиданный восторг, от каждого знака внимания с их стороны, которому они не придавали никакого значения, становилась растроганной, стремилась поскорее отблагодарить за него. Удивляло их и то, как она погружалась в чтение, забывая обо всем на свете, как хорошо всегда отвечала на занятиях, светясь радостью, если ответ ей особенно удавался. Но потом все привыкли к этому и полюбили Аннушку. Жили они весело.

Аннушка наслаждалась свободой и часто думала: «Вот счастье-то! Ходи, куда хочешь, делай, что хочешь, никто за тобой не следит, никто ничем не грозит». Сбросив монашеское бремя, она стала совсем другим человеком, и все ее помыслы сводились теперь к тому, чтобы получить профессию.

Ей и ее подругам часто приходилось дежурить в больнице. Там они на практике постигали суть будущей

работы. Изо всех сил старалась Аннушка сделать побольше во время дежурств и часто оставалась после них, чтобы еще побыть у самых тяжелых больных.

Будучи доброй от природы, она от души желала, чтобы все ее подопечные поскорее поправились, и старалась все сделать для этого, что от нее зависело. На ее работу обратили внимание, и главный врач приказом объявил ей благодарность.

Только одно печалью ложилось ей на сердце: Николай Бабыкин ничего не давал о себе знать. Она уже не мыслила без него своей жизни. По ночам ей рисовались страшные картины его гибели там, на границе. Иногда подкрадывался к ней и другой страх — что, может быть, у Николая все в порядке, но он позабыл о ее существовании,— однако она гнала эту мысль от себя. Правда, признаний он ей никаких не делал и ни разу не дал понять, что она ему дорога, но разве глаза его не сказали ей все красноречивее всяких слов? Не сознаваясь в этом самой себе, она жила ожиданием встречи.

Раза два порывалась сама поехать в Белую Криницу, да удержалась: было совестно прерывать занятия. Иногда ее надежда оживала: не такой он человек, чтобы пообещать, но не приехать. Может быть, служба тому мешает, дела какие? И он приехал.

Приехал он в конце месяца получать военное снаряжение. Она была на дежурстве. Николай побродил по городу, потом вернулся в общежитие и расспросил, где находится больница. Аннушка только вышла из больничных ворот, как они встретились. Так нежно прижал он ее к себе, такой радостью зажглись его глаза... Аннушка поняла, что любима.

Однако о любви они не говорили, как будто боясь спугнуть свои чувства обычными словами. Несколько часов гуляли они в старом парке и расстались только тогда, когда Николаю просигналила машина, ждавшая его у Дома Красной Армии.

* * *

Подходил к концу 1940 год. На сельской площади установили елку, нарядили ее, как под рождество. Еще одну поставили в бывшей трапезной мужского монастыря. Там теперь был клуб. Его украсили цветными бумажными гирляндами и лентами.

— Ишь, что выдумали,— злились старики.— Статочное ли дело, чтобы в трапезной такое устраивали. Срам один!

Ходили от дома к дому ряженые, собираясь группами, пели песни парни и девчата, как будто и не в староверческих домах жили, и не великий пост стоял.

В митрополии порядка уже не было. Силуян из Румынии так и не вернулся, как и монахи, уехавшие с ним. Из оставшегося охранять обительское добро десятка монахов двое куда-то исчезли. Епископ Софроний, заменявший митрополита Силуяна, был слабохарактерен и не мог держать в своих руках всю власть, как подобает митрополиту. Он часто трусливо думал о будущем, о том, что все летит в тартарары, а он бессилен. Решил поискать утешения в женской обители, но там услышал одни жалобы.

— Живем, словно караси на сковородке,— плаксиво сетовала игуменья.

— Люди поносливые, лживые слова плетут о нас, сестры от рук отбились. Уж сколько ушло... На днях Васька Деев на нашей Флёне женился. Стыдище-то какой для обители!

Софроний решил соблюдать достоинство и принял суровый вид.

— Только всем миром и единомыслием мы выстоим. Не допускайте у себя раздоров, в смирении себя блюдите,— сурово начал он внушать старицам.

— Скажи, владыка святый, а что станет с митрополией?— спросила матушка Феофания.

— Стоять надо, держаться надо! Не бояться бесов и их действа, дрянных людей и пустого злословия. Время такое — им лаять, а нам, если надо, муки принимать. Сами видите, вражья сила хочет живьем поглотить нас, море вокруг бушует, гибелью грозит нам, но мы не утонем, потому что под ногами у нас твердый камень из древлего благочестия. Сколько раз уже бились житейские волны об этот камень, но разлетались в брызги. А камень — вера наша — стоит и стоять будет.

— Правда, отче, в устах твоих,— согласились матушки.— Но ведь мы на такое поругание отданы безбожникам...

— Это господне нам испытание, крепости нашего духа проверка.

Софроний усмехнулся. Он сомневался, что в испытании божьем все дело.

*

Бабыкин обещал Аннушке приехать под Новый год. А накануне разыгралась пурга. Город замело. Остановились трамваи, забуксовали в сугробах машины.

Подруги Аннушки уже собрались встретить праздник, а она все сидела у окна и ждала. Наконец они пришли за ней и потянули ее за собой. Она оставила на столе записку Николаю.

В зале гремела музыка, а вокруг большой нарядной елки кружилось несколько пар. За красиво накрытыми столиками сидели девушки вместе с гостями и весело разговаривали.

Аннушка села за один из столиков с подругами, и они проводили старый год. А потом пришли и первые минуты Нового года, и девушку больно кольнула мысль, что нет сейчас с ней рядом человека, без которого ей жизнь совсем не мила.

А праздник пошел своим чередом. Начался карнавал, и Аннушка танцевала с одной маской, с другой... не переставая посматривать в сторону дверей. Потом сдвинули столики, и образовался общий стол, за которым пошли тосты один за другим...

Вдруг кто-то дотронулся до Аннушкиного плеча, и она, вся вспыхнув, обернулась. Ее старшина стоял, весь мокрый от растаявшего снега, рядом с каким-то другим военным и весело улыбался. Они вышли втроем на заснеженную, притихшую после уставшей бушевать пурги улицу. Бабыкин познакомил девушку со своим другом лейтенантом Вдовиным, который окончил военное училище и теперь должен был служить с ним вместе.

А лейтенанту Николай сказал:

— Это моя Аннушка, моя царевна.

От этого долгожданного и такого простого признания сердце девушки наполнилось счастьем и гордостью.

Они бродили до утра по пушистому снежному покрову.

* *

Николай стал приезжать почти каждую неделю, хотя за множеством дел ему трудно было выкраивать на это время. Живя этими встречами и напряженной учебой, Аннушка и не заметила, как пролетела зима,

а затем и весна с ее свежей зеленью, обилием цветения и птичьими трелями.

Однажды в середине мая, когда она сидела в комнате общежития одна, вахтер привел к ней гостя. Аннушка сразу узнала своего брата Поликарпа, хоть он и очень изменился: поседел, казался еще более сгорбленным. Она бросилась ему навстречу, и они горячо обнялись, ощущая одновременно и радость, и грусть, и чувство боли. Поликарп тоже нашел, что сестра сильно изменилась. По-прежнему красивая была, но совсем другая. Он почему-то не хотел садиться и жался к двери.

— Что ты, Поликарпушка? Не хочешь побыть у меня? — спросила девушка.

— Да вид-то у меня... уж больно затрапезный.

Аннушка теперь обратила внимание, что на нем была старая гуцульская одежда, местами порванная.

— Нехорошо, Поликарп, миленький, меня стесняться. Или мы не дети одной матери? Или не в одном доме росли? Откуда ты?

Поликарп виновато улыбнулся.

— Откуда? Оттуда, где лучше никогда не бывать.

Она поняла.

— Ну вот что, братишечка, я сегодня одна до вечера: девушки, что со мной живут, на весь день ушли в библиотеку. Так что располагайся, и мы обо всем поговорим.

— Сначала возьми вот это,— Поликарп протянул ей пакет.— Я тебя в монастыре надеялся увидеть и зашел первым делом туда. От Тикусы я узнал все о тебе и решил сразу же в Черновицы поехать, так она передала тебе это. И вот еще записка от нее.

Аннушка прочла:

«Прими, голубь мой, подарочек к Христовой пасхе. Посылаю тебе шерсть на пальто и отрезик на платье. Это залежалось у меня в сундуке еще с австрийских времен[1], мне ни к чему, а тебе пригодится. А кружева вологодские — на отделку. Еще прими толику денег на шитье да туфельки венские. Не забывай старуху. Да благословит тебя бог».

Аннушка взяла деньги и протянула Поликарпу.

---

[1] До 1918 года Белая Криница входила в состав Австро-Венгрии.

— Зачем обижаешь, сестра? Не нищий я...— покраснел он.

— Что ты, Поликарпушка! Что тут такого? Ты же меня когда-то выручил деньгами, и я, не задумываясь, взяла. А тебе одежонку бы купить надо. Мы же не чужие...

— Вот и счастье, что не чужие. Оставим о деньгах. Они мне сейчас не нужны, да и переданы они не для того. А я хочу признаться тебе, что отбывал каторгу. Ты знаешь, как все получилось?

— Знаю все, Поликарпушка. Маменька перед своей гибелью все мне рассказала. Но про твою судьбу я ничего не знала.

— Господи! Как же я жить дальше буду с таким клеймом? — Поликарп безудержно разрыдался.

Аннушка долго и настойчиво его успокаивала.

— Ну полно, полно, Поликарпушка, не терзай себя. Душою-то ты чист. А так, как ты жил, не дай бог никому. И ты же от папенькиного буйства хотел родных защитить, а злого умысла у тебя не было.

— Не было-то не было, да людям ведь не докажешь, все равно будут пальцем показывать.

Потом, излив свою горечь, он сказал:

— Надумал я уйти в места, где меня никто не знает. Знаешь, в заключении я на лесозаготовках работал. Под Селятином это, за Яблуновым хребтом. Румыны там политических содержали. А незадолго до освобождения привезли туда нас, уголовников. Чтобы досадить им, значит. Ну, а когда Красная Армия пришла, политических выпустили. Через полгода и мой черед выйти пришел. Куда податься? Не в Куничу же. Дай, думаю, пойду в Вижницу. Городок такой есть на реке Черемош. Мне туда адресок дал один политический. Мы с ним в лагере подружились. До тюрьмы он работал там резчиком по дереву. Ну, а я решил сперва с тобой повидаться. Очень мне хотелось на тебя посмотреть.

— Я, Поликарпушка, через месяц уже снова в Белой Кринице буду. Двенадцатого июня — последний экзамен.

— К жениху поедешь? Тикуса мне о нем говорила.

Она смущенно кивнула в ответ.

— Понимаешь, я ему всем обязана, но дело не в этом, а в том, что мне жизни нет без него.

— Счастливая ты, однако...

Еще долго говорили брат с сетрой. Потом Поли-

карп собрался уходить, но Аннушка его не отпустила, и, когда пришли подруги, она познакомила их с ним. Чаевничали допоздна, и брат остался ночевать в комнате для приезжих.

Утром он ушел чуть свет, когда Аннушка еще спала, оставив вахтеру записку для нее: «Сестрица, не гневайся за столь ранний уход. Не хотелось тебя еще беспокоить. Спасибо, что отогрела ты меня. Всегда любящий тебя Поликарп».

Быстро пролетела пора экзаменов, и после выпускного вечера Аннушка Колосова получила свидетельство об окончании медицинских курсов и направление в Черновицкий университет для продолжения учебы на медицинском факультете. Направления она не ожидала и снова расставаться с Николаем не хотела, хотя перспектива стать врачом очень ее прельщала.

Однако до осени было еще далеко, а сейчас ей предстояло провести летние красные дни с любимым, и она чувствовала, как у нее порой кружится голова от счастья. «Уж мы с ним что-то придумаем, чтобы не разлучаться»,— думала она с надеждой.

И вот она приехала в Белую Криницу и снова оказалась в гостеприимном доме фельдшерицы, которая радушно пригласила ее жить здесь.

Видеться с Николаем часто не удавалось, и она на том не настаивала, понимая, что ему совсем мало приходится спать, отчего глаза его были воспаленными. Не желая омрачать ее радужное настроение, он не рассказывал ей подробностей о своей работе, но девушка слышала от людей, что на границе творится что-то неладное. Участились перебежки вражеских лазутчиков, чужие самолеты то и дело нарушали воздушное пространство Советской страны, случались даже обстрелы пограничных постов. Провокации со стороны румын и немцев были самые различные, но было приказано на них не отвечать.

Аннушку не покидала тревога за Николая, но она ее не показывала, видя постоянную усталость своего друга. Только спросила однажды, не будет ли войны.

— Думаю, что нет,— ответил он.— Все это мышиная возня, но она дорого им обходится. Наши многих уже засекли, и они получают то, что заслужили.

Вскоре Бабыкин принес радостную новость. Обняв Аннушку, весело выпалил:

— Готовься к свадьбе, старушка! Медлить нельзя, нас высылают отсюда!

— Куда? — испугалась она.

— В Москву!

— Что вдруг? Что мы там делать будем?

— Ну, дел по горло предстоит. Твое направление обменяли, и будешь учиться в Московском медицинском. Скажи, разве не здорово?

— А почему?

— А потому,— он засмеялся счастливо,— что преданный тебе навсегда старшина будет курсантом высшего пограничного училища.

Регистрацию брака назначили на субботу 21 июня 1941 года. Поскольку это должна была быть первая гражданская свадьба в селе, сельсовет к ней специально готовился.

В этот день после полудня во дворе домика, который на время предоставили молодым, накрыли столы и в пять часов зазвенели колокольчиками тройки лошадей, украшенные лентами и цветами. Свадебный поезд спешил на заставу за женихом. В селе все, кто не был на работе, вышли на улицу поглядеть на него. Потом поезд заехал за невестой, и молодых повезли к сельсовету. Они сидели на передней тройке. На Бабыкине был новый военный костюм, на котором рядом со значком «Ворошиловский стрелок» красовался в петлице белый цветок. Такие же цветы украшали Аннушкину голову. От волнения она слишком прямо и напряженно сидела рядом с любимым, не веря еще до конца своему счастью, чувствуя на себе любопытные взгляды и то и дело краснея от смущения.

На других тройках ехали посаженые отец и мать — замполит Иван Ольков и его жена фельдшерица Ольга, товарищи Николая, девушки из села.

На крыльце сельсовета, покрытом ковровой дорожкой, поезд встречали Гуляева и сельские активисты. Музыканты из погранотряда играли марш. Капитана Гуляева не было: он ни на минуту не хотел покидать заставу. Сегодня здесь вдруг поутихло, и это казалось ему особенно подозрительным после всех вылазок с той стороны границы в предшествующие дни.

И опять Аннушка встретилась в сельсовете с Автономом Меркуловым. С широкой алой лентой через плечо он вышел навстречу молодым, и она снова ощутила крепкое пожатие его руки.

Секретарь сельсовета заполнил свидетельство о браке, и председатель вручил его жениху и невесте, горячо их поздравив. В комнате было полно народу, и все старались найти для них слова самые приветливые и дружеские. Молодые всех пригласили к себе на свадебный вечер.

Тот же поезд повез их домой. Когда, сойдя с него, они, взявшись за руки, медленно шли последние несколько метров к дому, их осыпали золотистым зерном, а под ноги бросали полевые цветы.

Через несколько часов пришли гости, принесли подарки, и началась свадьба. Иван Ольков первым предложил здравицу в честь молодых, и тостов потом было множество. Веселились славно, от души. Пели песни — больше новые, но кое-кто из сельчан вспомнил и старинные. Под заливистые звуки гармошки плясали, пели частушки. Было тесно, но всем хорошо.

Неожиданно все нарушилось. Еще не было и десяти часов, как вошел пограничник и тихо сообщил Олькову, что ему требуется немедленно прибыть на заставу. Тот сразу исчез, ни с кем не простившись, чтобы на его уход не обратили внимания. Но некоторые это заметили и жених с невестой — тоже. Они встревожились. У Аннушки упало сердце, ей показалось, что надвигается что-то недоброе. Николай встал из-за стола и сказал гостям, что ему нужно ненадолго уйти, попросив их не расходиться. Он хотел узнать, в чем дело, почему так срочно отозвали Олькова. Ему не терпелось убедиться, что ничего плохого им с Аннушкой, да и всем собравшимся здесь людям, не грозит.

Бабыкин поцеловал жену, сказав, чтобы она не волновалась, и пообещав быстро вернуться. Но вскоре после его ухода зашли в дом двое крестьян — Ольгиных пациентов — и рассказали, что с границы пришли плохие вести, хотя точно никто ничего не мог объяснить, что там произошло: то ли очередная провокация, то ли что еще хуже. Гости стали поспешно расходиться.

Аннушка осталась одна с Марией Васильевной. Она совсем растерялась и хотела бежать на заставу, но Гуляева ее не пустила.

— Раз уж так получилось, давай приберемся и от-

дохнем немного,— сказала Мария Васильевна.— Мужчины наши ведь знают, где мы, и если что — найдут нас или пошлют кого-нибудь за нами.

Женщины не знали, что в это время погранзастава была уже в состоянии боевой готовности. Бабыкина начальник тоже собирался отозвать, но немного позже, чем Олькова, жалея, что приходится прервать его свадьбу. И очень обрадовался, когда тот явился сам.

Николаю рассказали вот что. Румынские солдаты еще до наступления вечера заняли ближайшие к пограничной полосе позиции и выкатили на заранее подготовленные площадки боевые орудия. Потом пограничники привели парня, перебежавшего границу, который заявил, что является румынским коммунистом и принес сведения о том, что намечается захват Белой Криницы рано утром. Гуляеву удалось проверить отдельные его показания, связавшись с погранотрядом, и он убедился, что есть все основания верить перебежчику.

Около трех часов ночи по световому сигналу несколько диверсионных групп одновременно пересекли границу. Некоторые были захвачены пограничниками, другие успели выполнить свою задачу: перед рассветом связь заставы с погранотрядом и соседними заставами была нарушена и восстановить ее не успели, так как румынские войска в быстром темпе вслед за этим пересекли границу и блокировали все ближайшие дороги. Сдержать их натиск было невозможно, хотя пограничники изо всех сил пытались это сделать.

Когда под утро Мария Васильевна и Аннушка услышали пальбу и грохот взрывов, они быстро вскочили с постелей и стали одеваться. В это время в окно постучали. Открыв ставни, женщины увидели солдата.

— Это Мухетдинов,— сказала Гуляева.— Его, наверное, мой муж прислал.

Мухетдинов действительно выполнял приказ начальника заставы, пославшего его за женой.

Втроем они побежали по главной улице, все время припадая к земле, потому что стреляли с двух сторон и над головами их непрерывно свистели пули.

— Быстрей, быстрей давайте! — торопил солдат.

Недалеко от женского монастыря они услышали сзади себя треск мотоциклов. Мухетдинов оглянулся и мгновенно прыгнул в канаву возле дороги.

— Ложись! — крикнул он спутницам и стал стрелять в мотоциклистов. Одна из машин, потеряв управление, врезалась в каменную стену монастыря. Другие развернулись и помчались обратно, огрызаясь автоматным огнем. Но наперерез им уже бежали пограничники. Два мотоцикла загорелись.

Оглушенные женщины переползли дорогу и проникли во двор женского монастыря. А на улице села уже шел настоящий бой.

За калиткой монастыря они столкнулись с Тикусой.

— Вот и хорошо, что ты тут, маков цвет, а я уже хотела тебя разыскивать, да не могла придумать, как сунуться в это пекло. Шуточное ли дело — такая пальба началась. Идемте, я проведу вас в подвал, там в германскую все здешние прятались,— сказала она.

— Нам на заставу надо, Тикусочка, а то начнут нас разыскивать.

— Еще чего, глупенькая моя! Тебе-то что там делать?

— Ты забываешь, Тикусочка, что, где стреляют, там и раненые. Кто же их перевяжет, кто поможет им, если не я? Раз выучилась — должна их лечить...

— Христом богом прошу тебя...

Но голос Тикусы заглушили крики: «Ура!», и снаружи у стен застучали солдатские сапоги. Гуляева выглянула за ворота.

— Ого! Их уже отогнали. А вот и Мухетдинов сюда бежит. Пошли!

Тикуса в страхе смотрела на женщин, шепча молитву. Она что-то хотела сказать, но Аннушка быстро поцеловала ее и первой выскочила на улицу.

Выдержав внезапный обстрел, пограничники отбили первые атаки врага. Зная, что противник вот-вот двинется снова, они залегли у своих огневых точек и были готовы его встретить. Он не заставил себя долго ждать и вскоре по всей линии обороны двинулся плотной цепью. Дружный пулеметный и автоматный огонь заставил румын залечь, а вскоре и обратиться в бегство. Бабыкина, засевшего с рядовым Сосновым на колокольне собора мужского монастыря и стрелявшего оттуда из пулемета, на мгновение охватила бурная радость, тут же снова сменившаяся озабоченностью. Хотя и удалось примять врага и потери были пока еще небольшими, но отсутствовала связь со своими, а значит, и рассчитывать приходилось только на собственные силы. «Если

они начнут массированное наступление, мы все здесь лежать останемся,— сделал он вывод.— Нас так мало...» Он с нежностью подумал о своей молодой жене и почувствовал, как сильно застучало сердце. Его переполняла тревога за нее, и он пытался представить, что она делала после его ухода со свадьбы и где она теперь.

Начало всходить солнце. Утренний холодок пробирался сквозь гимнастерки солдат, по-прежнему находившихся в напряженном ожидании. Им сообщили, что румыны подтягивают все ближе артиллерию и минометы, а со стороны Климауц движется несколько бронемашин.

— Не стрелять! — приказал Гуляев.— Пусть подойдут как можно ближе, и тогда мы дадим им перцу.

Для предотвращения удара с тыла он послал своего заместителя Олькова прикрывать женский монастырь.

Прошло немного времени, и на заставу посыпался град артиллерийских и минометных снарядов. В воздухе стояла завеса из дыма и пыли. Аннушка, затаскивая в церковь и быстро перевязывая раненых, размышляла, кого бы расспросить о Николае. Она уже освоилась в этой обстановке и научилась пригибаться и быстро падать на землю, когда работала под обстрелом.

Несколько раз вражеские солдаты подбирались к монастырской ограде и пытались перебраться через нее, но падали, как подкошенные, или сразу отбегали, взятые в перекрестный огонь. Был момент, когда под прикрытием бронемашины румыны подошли к воротам совсем близко, и казалось, что они вот-вот ворвутся во двор, но политрук Ольков, обстреляв их с тыла, поджег бронемашину, и они обратились в бегство.

Наступила короткая передышка. Враг отошел на свои исходные позиции.

Оставив у пулемета Соснова, Бабыкин спустился с колокольни, чтобы запастись пулеметными лентами и водой. И тут он увидел Аннушку. Они бросились друг к другу, и она заплакала, прижимаясь к его широкой груди, щупая его руками, словно хотела таким образом увериться, что он живой.

Пограничники выстроились во дворе, и Ольков обратился к ним с речью:

— Товарищи бойцы! Все мы считали, что нападение, которое нам пришлось отражать, всего лишь вражеская провокация. Но только что по радио сообщили о том,

что фашисты начали войну с нашей страной. Они покушаются на нашу землю. Но знайте — вся Красная Армия и весь советский народ поднимаются против захватчиков и правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что агрессор получит достойный отпор.

Помолчав немного, он с силой, чеканя каждое слово, произнес:

— Товарищи бойцы! Родина наша в опасности! И мы с вами должны драться так, чтобы как можно больший урон нанести врагу. Так поклянемся же, что до последней капли крови будем отстаивать честь нашей Родины и жизнь советских людей. Ни шагу назад!

И все пограничники принесли клятву. И с этой минуты помыслы каждого свелись к одному: во что бы то ни стало выстоять, выдержать натиск врага, а если не хватит сил — достойно встретить свой конец с думой о Родине, с верностью ей.

С помощью крестьян, которые дали пограничникам несколько подвод, были эвакуированы раненые и Ольга Олькова со своими двумя детьми. И вовремя, так как атаки румын возобновились. Взятый в плен румынский офицер сознался, что против погранзаставы действует целый полк регулярных войск, потерявший, однако, уже треть своего состава.

Особенно ожесточенной схватка стала в конце дня. Врагам удалось занять село. Замполит с группой солдат пошел в контратаку, чтобы выбить их оттуда. Раненный в руку, теряя много крови, он продолжал командовать. Когда враги уже отступали, уходили из села, одна из пуль, попав в голову, сразила его.

*

Стих бой, и наступила первая военная ночь. Небо полыхало заревом пожарищ. Не добившись своего, фашисты готовились взять реванш, накапливая, концентрируя живую силу и технику на подступах к Белой Кринице. Защитники заставы, в свою очередь, рыли окопы и укрепляли свои позиции, поднимали наполненные песком мешки на колокольню собора, делая укрытие для пулеметчиков. Простившись со своим замполитом, пограничники похоронили его, дав друг другу слово, что если кто останется жить — разыщет его жену и детей и позаботится о них.

К полуночи настала полная тишина, и Аннушка поднялась к мужу наверх.

— Вроде угомонились, проклятые,— сказал, покашливая, Соснов.

— Ты иди поспи,— предложил Бабыкин.— А в случае тревоги мчись опять сюда.

Соснов стал спускаться вниз.

— Тебе страшно? — спросил Николай, обнимая жену.— Ты вся дрожишь.

— Да нет, Коля, с тобой не страшно.

— Тебе надо отсюда уехать. Завтра, я уверен, день будет еще тяжелее.

— Некуда мне ехать, Коля,— твердо ответила она.— Я должна быть возле раненых. У вас даже санитарок нет. А пуще всего я боюсь тебя потерять из виду.

— Давай позабудем о войне хотя бы на несколько минут.

— Хорошо,— согласилась она.

Бабыкин разостлал возле пулемета свою шинель, и они легли. С неба на них смотрели крупные звезды. Аннушке казалось, что это для нее и для ее друга они мерцают так таинственно, маняще, и луна — она тоже для них льет своей желтый загадочный свет. Чувствуя, как тепло разливается по усталому телу, она прильнула головой к груди мужа и не заметила, как сон охватил ее.

С рассветом начался мощный налет вражеской авиации и одновременно артиллерийский обстрел. Раненых стало больше. Медсестра Бабыкина, вся взмокшая, работала в этом кромешном аду. Теперь она переносила бойцов, получивших ранения, во двор монастыря с помощью трех девушек из села, которым она на ходу давала инструкции, обучая их перевязкам.

Начальника погранзаставы ей спасти не удалось. Он жил всего лишь двадцать минут после того, как был ранен осколками авиабомбы. Командование принял на себя Вдовин.

Аннушка не переставала прислушиваться к пулеметным очередям мужа. Она хорошо различала их среди выстрелов, трескотни пулеметов и взрывов бомб.

Видя, что пограничников становится все меньше и меньше, она невольно оглядывалась на колокольню, где строчили из пулемета Николай и Соснов, и, судорожно

сжимая свою санитарную сумку, старалась действовать быстрей, еще быстрей...

Снаряды рвались всюду. Горели казармы, гостиница и митрополичьи покои, были разрушены трапезная и зимняя церковь. Потом внезапно все смолкло. Тишина была странной, неестественной после только что звучавшего грохота. Промыв рану и наложив повязку молоденькому бойцу, Аннушка шагнула за ворота и увидела румынских солдат, которые приближались с каждой минутой. «Скоро ворвутся,— подумала она,— а наши ряды-то порастаяли...»

Из рощицы, что была за селом, вдруг донеслись до заставы звуки установленного румынами громкоговорителя. Враг предлагал в течение часа поднять над заставой белый флаг, прекратить сопротивление и добровольно сдаться в плен. «Если это требование не будет выполнено,—грозил он,—застава будет стерта с лица земли».

Пограничники, воспользовавшись передышкой, таскали боеприпасы, запасались водой и питанием. Три подводы с ранеными бойцами удалось отправить в Глыбоку.

В яблоневом саду, рядом с заставой, похоронили капитана Гуляева. Жена его с измученным лицом, с остановившимся взглядом огромных глаз, под которыми залегли тени, молча поплакала на могиле и пошла помогать готовиться к бою.

Час прошел. Из репродуктора послышались новые угрозы.

— Даем вам последнюю возможность спастись,—прокричали оттуда,— если через десять минут не поднимется белый флаг, мы начнем уничтожение заставы и села.

Пограничники не ответили. Через десять минут на них обрушились артиллерийские залпы. Теперь орудия румын били прямой наводкой по каменной ограде монастыря, пробивая и ее, и стены построек. Вскоре и монастырь, и покои митрополита пылали. Под прикрытием артиллерийского огня фашисты несколько раз пытались подойти к заставе, но их каждый раз останавливал пулемет Бабыкина.

Теперь митрополичий собор стал основным узлом обороны заставы. Вдовин и остатки бойцов держались вместе.

В разгар боя какой-то смельчак прорвался к собору и передал лейтенанту приказ об отходе.

— Мухетдинов! — приказал Вдовин.— Беги на ко-

локольню, передай старшине, что получен приказ из погранотряда отступить. Прорываться будем мимо женского монастыря на Красноильско-Глыбокскую дорогу.

Однако Бабыкин предложил прикрыть отступление пулеметным огнем, и друг его согласился, оставив ему две последние ленты. Аннушка ни за что не хотела оставить мужа, как ни убеждал ее лейтенант.

— Я сама отнесу ему ленты,— сказала она,— а вы уходите, скорей уходите.

— Тогда хоть пистолет возьмите на всякий случай,— Вдовин вынул из кобуры блестевший вороненой сталью ТТ и вложил ей в руку.— Как увидите красную ракету, бегите догонять нас.

— Все поняла...

Через минуту Вдовин с небольшой кучкой бойцов уже пробирался через погост мужского монастыря.

Аннушка же стала подниматься наверх, прижимая к груди пулеметные ленты. Вдруг страшной силы взрыв потряс колокольню. Сверху посыпались камни, штукатурка и куски дерева. Жалобно застонали колокола... Расползался удушливый дым, и сквозь него, пошатываясь, вся в пыли, Аннушка вскарабкалась на верхнюю площадку и упала рядом с лежавшими на полу Бабыкиным и Сосновым. Чуть отдышавшись, она посмотрела на два неподвижных тела и в ужасе отпрянула. Потом, встав перед ними на колени, она стала вглядываться в их лица. Перевернула на спину Соснова, лежавшего на боку, и обняла Николая. Рука ее обагрилась кровью, и она увидела, что левое плечо у Николая было раздроблено. Оцепенев, уставившись на эту рану, она сидела рядом, держала руку старшины в своих теплых руках, словно согревая ее.

Она не заметила, как рядом оказалась Мария Васильевна.

— Успокойся, моя девочка, ведь это война. Как видно, такова наша с тобой судьба. Теперь мы обе вдовы...

Аннушка не ответила.

— Ты молчи, дорогая, если тебе так легче,— быстро заговорила Гуляева, обняв девушку за плечи,— но надо сейчас же действовать, пойми это. От нас зависит сейчас, может быть, жизнь тех, кто, уходя, надеялся на твоего мужа. Мы, мы с тобой должны заменить убитых, Аннушка. А больше некому, пойми это. Встань, прошу

тебя. Потом выплачем с тобой все, потом горевать будем, а сейчас нельзя, никак не имеем права сидеть сложа руки — каждая минута дорога. А ну, помоги мне!

Они оттащили тела от пулемета, и Гуляева стала его заряжать.

— Беги во двор,— сказала она,— я там у края стены, где дыра образовалась, нашла ящик, в нем есть еще ленты. Тащи их сюда. Скорей!

Аннушка опрометью бросилась вниз, прыгая через две ступеньки. Она услышала, как застрочил их пулемет. Когда она вернулась и они снова его зарядили, ей захотелось сейчас же, немедленно, не тратя ни минуты попусту, вцепиться в эту маленькую боевую машину и бить, бить, бить по этим идущим, ползущим, пришедшим незванно, принесшим смерть на эту землю, где она впервые почувствовала радость жить и счастье быть любимой. Но были нужны ленты, и она рванулась за ними снова.

Сбегая по лестнице, она увидела, что через пролом, образовавшийся от взрыва тяжелого снаряда, в церковь уже лезли солдаты. Она повернула назад и встретилась взглядом с румынским офицером, который впился в нее своими колючими глазами. Она узнала Аурелиу Попеску, вспомнила сразу, как ехала с ним в поезде несколько лет назад.

— А... гимназисточка! — он схватил ее за руку.— Все еще в гостях у тетушки? А ну, пошли со мной, — он потянул ее к ризнице.

Аннушка вырвала руку, но Попеску снова схватил ее и теперь сжал что есть силы.

— Ну и девка,— он криво усмехнулся,— хуже необъезженной кобылы. Вам, барышня, необходимо присмиреть — ведь вы в моих руках, а мне угодно, чтобы вы покорились. Тогда в поезде вы разыграли недотрогу, но на этот раз от меня не уйдете. Вот, вот, красавица,— добавил он, видя, что девушка презрительно улыбнулась,— именно так. Или вы думаете снова меня дурачить?

Она с ненавистью посмотрела на самодовольное лицо и плюнула в него. Попеску рванул ее за собой и втолкнул в ризницу. Пролетев вперед, она ударилась о стену, но все же устояла на ногах. Зло засмеявшись, офицер медленно двинулся к ней от стены. Она, стиснув зубы и вся напрягшись, как струна, выхватила пистолет из кармана юбки и выстрелила. Когда офицер

падал, лицо его исказила гримаса удивления и злобы.

Вся дрожа, Аннушка выскочила из ризницы и побежала вниз. Ее заметил солдат, стоявший на крыльце, и выстрелил ей вслед, но промахнулся. Оказавшись за дверью, она побежала из последних сил к воротам женской обители.

Мухетдинов с каким-то бойцом устанавливал возле калитки пулемет. Возле них крутилась матушка Тикуса и умоляла:

— Ради бога, пощадите святыню! Они разобьют и нашу обитель. Ведь митрополию не пожалели, ироды!

Пограничники не отвечали, поглощенные своим делом.

— Да уходите вы, бабушка, отсюда, а то ухлопают и вас вместе с нами,— сказал наконец один из солдат.

— Здесь в соборе бесценные сокровища, в подвале женщины и дети,— продолжала умолять Тикуса.

Подошел Вдовин и спросил экономку:

— Выход отсюда еще есть?

— Есть, есть, как же. Хотите, сама провожу вас через запасную калитку на монастырскую пустошь?

— Это я могу сделать,— предложила Аннушка, стоявшая в стороне.

— Боже мой! — воскликнула обрадованно Тикуса.— А я уже не чаяла тебя увидеть, душа моя.

— Как там Бабыкин? — спросил лейтенант.

Аннушка опустила голову.

— И Соснов тоже?

Она кивнула.

Бойцы обнажили головы.

— А кто же стреляет из пулемета?

— Жена начальника заставы.

— На улице танки! — сообщил Мухетдинов.

— Ну, ведите нас, коли взялись,— обратился Вдовин к Аннушке.— Правда, есть выход на пустошь?

— Да, идите за мной.

— Прощай, Тикусочка,— она, поцеловав тетку и не оглядываясь, пошла впереди пограничников, которые вели с собой пять овчарок.

Благополучно миновав село, группа, пригибаясь, пересекла обширное монастырское поле пшеницы и вышла на песчаный гребень. Внизу текла река Сирет, за ней был широкий заливной луг и рядом густой лес. Отсюда хорошо просматривались Белая Криница, окутанная дымом, и проселочная дорога в село от стан-

ции Ваду-луй-Сирет. На дороге показались мотоциклы.

— Спускайтесь к реке! — скомандовал Вдовин.— Нужно переправиться на тот берег и уйти в лес. Мухетдинов и Иванов! Прикройте пулеметом.

Они уже были у самой воды, когда услышали треск мотоциклов совсем близко.

— Вы умеете плавать? — спросил Аннушку Вдовин

— Не очень...

— Тогда держите! — подведя к ней собаку, он подал ей поводок.— Альма, вперед, человека не бросай!

Они с разбегу бросились в холодную реку. Аннушка хотела остановиться и перевести дыхание, но овчарка не дала и энергично потянула ее вперед.

— Не за ремень держитесь, а обхватите собаку сзади! — крикнули девушке.

Короткие автоматные очереди стали бить по воде.

Уже на противоположном берегу Аннушка увидела, оглянувшись, как Вдовин и двое бойцов переплывали реку последними.

Мотоциклов на той стороне было уже много, и теперь стреляли из пулеметов. Остатки отряда под этим огнем двигались к лесу короткими перебежками.

Сильный взрыв заставил их оглянуться. Они увидели, как оседала колокольня в мужском монастыре. Аннушка невольно остановилась,— ведь там была Гуляева,— но Вдовин схватил ее за руку и потянул за собой. Застрочил пулемет где-то совсем рядом. Они заметили на проходящей недалеко дороге бронемашину. Трое бойцов были убиты сразу. Уже у самого леса разрывная пуля попала лейтенанту в бедро, и он упал. Его подхватили и потащили в лес. Здесь они отдышались. Аннушка наложила раненому тугую повязку. Сознание к нему не возвращалось.

Из двух палок и плащ-палатки смастерили носилки и положили Вдовина на них. Попасть в Глыбоку не удалось: на окраине села уже шел бой. Обойдя его стороной, пограничники вышли на Черновицкую дорогу и остановили попутную машину. На ней Бабыкина привезла лейтенанта в госпиталь. Крови он успел потерять много, и хотя ему сразу же сделали операцию, его состояние оставалось тяжелым — лихорадило и температура то поднималась очень высоко, то резко падала.

Аннушка не отходила от него ни днем, ни ночью, страстно желая, чтобы друг Николая остался жить.

* *

Белая Криница осталась у врага, и бои шли уже близко от Черновиц. Через трое суток началась эвакуация госпиталя. Раненых спешно разместили в вагонах военно-санитарного поезда, и он почти без остановок пошел на восток. Наутро прибыли уже в Жмеринку. При обходе раненых врач нашел, что Вдовин нетранспортабелен, и предложил оставить его в какой-нибудь городе, где есть госпиталь или больница. Поразмыслив, Аннушка решила, что это лучший выход.

— Кстати, кем вы ему приходитесь? — поинтересовался врач.— Жена, сестра, знакомая?

— Да нет,— пожала она плечами. Потом рассказала все о бое на заставе, о гибели мужа и ранении Вдовина.

— О, да вы женщина необыкновенная! — с уважением сказал врач.— Сколько же вы повидали! Такие люди нам нужны, и я доложу о вас начальнику поезда.

Прошло еще несколько дней, а состояние лейтенанта все еще было опасным. Срочно потребовалась кровь для него.

— У меня первая группа,— не раздумывая, предложила Бабыкина,— берите мою!

После переливания раненому стало несколько лучше, но изнуряющая лихорадка не проходила.

— Скоро будет Ростов-на-Дону,— сказал врач.— Там мы сможем оставить его в знаменитой клинике профессора Богораза. В этой клинике занимаются восстановительной хирургией и даже пересадкой тканей.

Но до Ростова еще раз пришлось делать переливание крови. Когда поезд остановился, лейтенант спросил с надеждой:

— Может, останетесь здесь, со мной? Вы мне как сестра родная стали.

Ласково на него глядя, Аннушка покачала головой.

— Теперь вы будете в надежных руках, Володя, и обойдетесь без меня. Я постараюсь потом приехать проведать вас.

Она решила работать в поезде, понимая, как нужна всем другим раненым, тоже привыкшим за время пути к ее рукам и доброму взгляду.

Они простились, подумав каждый, что скорее всего больше не увидятся, и остро жалея об этом в глубине души.



Тикусины хлопоты

Где тонко, там и рвется
(русская народная пословица)

Прошло четыре года. Ранним июльским утром в монастырском саду медленно шли по тропинке матушка Тикуса, Аннушка и ее сын Коля — худенький черноглазый мальчуган трех с половиной лет. Вот уже два дня, как Бабыкина приехала сюда, а все не могла наговориться с теткой. Снова и снова переживали они вместе минувшее, рассказывали каждая о себе. Тикуса поражалась, что ее хрупкая, нежная племянница несколько лет провела в военно-санитарном поезде, который колесил по дорогам войны, иногда только чудом уходя от врага, попадая под бомбежки и обстрелы. Даже рождение ребенка не могло оторвать Аннушку от ее главного дела — лечить раненых, которому она отдавалась самоотверженно и до конца. Она отвезла полугодовалого Колю к свекрови в Курган и вернулась на свой поезд, где, ей казалось, обойтись без нее никак не могли.

Тикуса с жалостью смотрела на исхудавшее Аннушкино лицо.

— Поживи у меня подольше, голубь мой. Тут у нас благодать теперь — тихо, спокойно. А я тебя подкормлю малость. Свое-то хозяйство у нас порушено, но в селе мы берем молоко и яйца, да еще картошку. Яблоки вот поспевают — мальчонка, небось, любит их.

— Я бы и рада, Тикусочка, да мне в город скоро надо. Буду учиться на врача, я уже тебе говорила. Комнату нам с Колей обещают дать. Ну да ведь до нас недалеко — будем видеться...

— А то как же, надо видеться почаще. Уж как я стосковалась по тебе — и не сказать! Не чаяла тебя увидеть живой-то, вроде как сгинула ты — ни слуху, ни духу столько лет. А я, маков цвет, почитай каждый день за тебя молилась. И утром думы о тебе, и вечером... И уж выпала все же мне, старухе, эта радость — тебя повидать. Да еще с сыночком!

— А как я-то рада, Тикусочка! Ты ведь мне вместо матери...— Аннушка помолчала, справляясь со своим волнением, потом продолжала:

— Только не нравится мне что-то, как ты выглядишь. Устала очень или не выспалась?

— Что ты хочешь, маков цвет, в седьмой десяток вступила. Силы уже не те, а семейка у меня большеватая, сама знаешь. Раньше, правда, еще больше была — сотня с лишком, но и теперь чуть ли не пять десятков душ надо кормить и поить. Все постарели, все одряхлели. Те, что помоложе, стали по сторонам оглядываться, о мирской жизни задумываются. Матушка Поликсения глохнуть стала... да и разумом не настолько востра, как раньше. А вот ехидства, да скупости, да чванства прибавилось. И еще то меня точит, что не с кем совет держать. Владыка Силуян в Румынии преставился, и там выбрали митрополитом Иннокентия, а германцы его в сорок втором погубили. После него, значит, Тихона навязали, в миру назывался Тимофей Качалкин, а теперь и он в бегах. В общем, вдругорядь осиротели мы.

— Тикусочка, а что с твоими руками, отчего они все в шрамах? Еще вчера хотела спросить, да постеснялась.

— Э... маков цвет, лучше бы не вспоминать... Да ладно, расскажу, ведь дело прошлое. Пусть только Коля побегает вон там, на лужайке. Не к чему малому такие рассказы слушать.

— Беги поиграй, сынок,— наклонилась Аннушка к малышу.

— Румыны мне много памяток оставили,— экономка расстегнула апостольник и обнажила плечи.— Видишь рубцы? И шрамы эти,— она показала на руки,— все от них, от этих извергов. Не погнушались плетью стегать, железо раскаленное прикладывали и все обзывали меня большевицкой шпионкой.

— Тикусочка! Возможно ли это? — прошептала Аннушка в изумлении и гневе.— За что? Чего они от тебя хотели?

— Чего хотели? Знамо дело, сама-то я им не нужна была. Нашелся кто-то — донес, что моя племянница замуж за советского пограничника вышла, да еще насочиняли, что стреляла вместе с ним в румынских солдат. Ну и понадобилась ты им вдруг. Скажи да скажи, говорят, куда она делась. Я того не знала, да и знала бы — не сказала. Сама, как подумаю, не случилось ли чего с тобой плохого, так и обмираю. Перед ними мол-

чала. Ну, чего ты лицом-то потемнела? Прошлое это дело. Все, душа моя, проходит на этом свете. А на том свете каждый своего не минует, каждый свою тень увидит и поймет, что он в жизни значил. Так что ни к чему нам о былом горькие слезы лить. Что было — прошло и быльем поросло.

— И долго это продолжалось, Тикусочка?

— Ни-ни, какое долго... Как вы ушли, на другой же день русские опять были у нас, а то не знаю, чем бы все это и кончилось. Дней десять они продержались. Все это время я тебя искала, да без толку. А потом, как раз в конце Петрова поста, русские ушли все же, и, сказывают, далеко. Румыны опять расположились, хозяевами себя считали. Когда владыка Иннокентий прибыл и монахи, что с Силуяном ушли, воротились, пришлось нам потесниться. Всю митрополию разместили в женской обители. Сколько разрушено-то было, ты видела. Чтоб монахи жить могли свободнее, подправили кое-что и в мужской обители.

— А тебя больше не трогали?

— Какое там! Втемяшилось властям в голову, что ты вредительством против них занималась. Спознали, сама не знаю как, про твой уход. Уж и верно, что земля слухом полнится. Стали таскать меня жандармы на допросы. Били опять, все про тебя выпытывали. А потом даже в тюрьму попала — в черновицкую. Откуда-то узнали, супостаты, что супруг твой на колокольне с пулеметом сидел и уложил немало ихних солдат. Ты же, будто бы, патроны ему таскала, а под конец сама на колокольне из пулемета била. За то нас винили, а меня больше всех. Из-под вашего крыла, говорили, вышла, с вас и спрос. И за то грозили монастырь наш извести. А как разобрали груду-то, что от колокольни осталась, так и опознали в убиенной женщине жену начальника заставы, про которую ты сказывала, что она очень уж добра к тебе была. После того изгаляться стали меньше, но все равно дознаться хотели, куда ты девалась.

И что ты думаешь, чем все кончилось? Матушка Феофания заявила вдруг, что видела, как тебя разорвал румынский снаряд, и даже показала могилку. Разрыли ее. А там сестра Епифания была похоронена, ее и в самом деле снаряд разорвал. Взяли грех на душу, выдали ее за тебя. Крест поставили и надпись сделали.

Пойдешь на кладбище — увидишь: до сих пор стоит. Тут высокопреосвященный Иннокентий, царство ему небесное, поехал в Черновицы за меня хлопотать и прихватил с собой Феофанию и еще сестер нескольких, чтобы свидетельницами были. Доказал, что ты погибла, возмездие, мол, свершилось. Конечно, не обошлось и без выкупа. Выпустили тогда меня. Отдышалась я в обители да и стала снова хозяйство вести. О своем благодетеле-владыке заботилась. С тех пор всегда сама ему готовила, сама ему прибирала. Он ведь поселился в моем домике, от старых покоев ничего не осталось. Взяла я себе в помощницы белицу Нюшу. Хорошая девушка, без нее с тоски бы пропала. Поселились мы с ней в светелке, а владыка — в моей спаленке. Внизу, на лавке, его секретарь спал, а на другой — послушник молоденький.

— А отчего владыка умер?

— Ох, владыка-то наш мучеником стал. Ни за что настрадался. Вот послушай, как было...

И Тикуса рассказала, как добивались от митрополита, чтобы он подписал воззвание к старообрядцам России, в котором они призывались бороться с большевизмом.

— Он, конечно, не соглашался, так они ему в пример архимандрита Тихона привели. Тот прельстился их-ними посулами и служил молебны за победу румынского оружия. А митрополит вызвал Тихона к себе и зачал с ним спорить. До того доспорились, что владыка Тихона по уху огрел и стращать его начал наказанием. Молебны эти Тихон перестал справлять. Но владыку в покое не оставили. И митрополии совсем туго пришлось. То ли архимандрит на владыку пожаловался властям, то ли им староверы русские стали как кость в горле, но начали нас острогами да пытками пугать. Из Бухареста чиновник приехал, раскричался, требовал молебственные служы в честь врагов наших возобновить, а к митрополиту пристал все с тем же — насчет воззвания. Владыка, ясно, ему не уступил и на угрозы и уговоры не поддался. А когда незваный гость уезжать собрался, высказал ему все откровенно. Наше, говорит, дело призывать не к войне, а к миру всех христиан. Исус Христос завещал нам: «Блаженны миротворцы, ибо они назовутся сыновьями божьими».

— А дальше?

— И на том напасти не кончились, маков цвет. Вскорости к нам еще один «гость» пожаловал — какой-то немец важный, которого называли как-то мудрено — турбанфюрер, что ли... в черном весь, а на руках, помню, нашивки были — череп и кости. А с ним много других немцев — и тоже в форме — да еще переводчик.

Принял владыка немца в трапезной. Мы постарались накрыть стол, достали лучшие вина, наварили, нажарили. Я вместе с Нюшей подаю кушанья, а между делом стою в сторонке за входной дверью. Ну, выпили они, поели, протараторили на своем языке, а потом к владыке и подступили. С чем, ты думаешь? Оказалось, все с тем же. И этим воззвание, видите ли, понадобилось. Торопитесь, говорят, ваше преосвященство, внести свою лепту в разгром безбожников, а то останетесь на задворках истории. Наши, говорят, солдаты — герои, скоро возьмут Москву. И надо им помочь. А владыка в ответ: зачем, мол, вам какая-то бумажка, если вы и так в победе уверены. А немец ему внушает: русские ваши фанатики, если вы к ним обратитесь, вам поверят, и это ускорит нашу победу, а вам будет большой почет и прямая выгода. И подошли двое к владыке, сунули ему бумагу. А он очки надел, прочитал все не спеша да и отодвинул от себя бумагу-то. Не хочу, молвит, быть пособником братоубийства. За смирение и кротость ратую, а ненависть разжигать не стану. Немец пистолет-то вскинул да прямо в лицо владыке. Стоим мы с Нюшей за дверью, вздохнуть боимся. А владыка — хоть бы что, сидит себе и в лицо немцу спокойно так смотрит. Святители наши попадали на колени, шепчут молитвы. А немец разозлился тогда, видать, очень и выстрелил. Да господь не допустил, чтобы на глазах у изверга владыка опочил. Задела пуля только ухо, и оглушен был высокопреосвященный. Но вскорости помешался в уме, стал, как ребенок. Пробовали его лечить, врачей из Черновиц привозили, а пользы никакой. Немцы в его голове след оставили: не раз он начинал кричать и ругать их. Ох, и натерпелись мы страху! Узнай они об этом, не сдобровать бы обители. Стали мы его держать взаперти, в моей моленной, откуда нет никаких окон во двор. На всякий случай пустили слух, что у владыки тиф, чтобы никто не дерзнул к нему заходить. Кроме его прислужника да Нюши, я к нему никого не до-

пускала. Через три месяца ровно — февраль только на порог ступил — митрополит Иннокентий скончался. Но и в эти три месяца покоя нам не было. Немцы не только хотели прикрыть обитель, но и сулили заточить всех нас в лагеря.

— А что потом было? — спросила Аннушка.

— После смерти владыки удалось собрать освященный собор. Неполный, конечно. Приехало священство из Румынии и Бессарабии, Измаила и Винницы. Из Вилкова прибыл священноинок Геронтий. Помнишь его? Так вот, по завещанию Пафнутия, *ему* надлежало стать главою митрополии. Но власти тому воспротивились и предложили избрать Тихона. Деваться было некуда, и пришлось всем за него проголосовать. Нужно сказать, что он избавил нас от преследований и мы, наконец, вздохнули свободно. Между нами говоря, любить нового владыку было не за что. Однако он, хоть и не одобрял Советов, публично о том больше не высказывался. Может, чуял, что русские вернутся? У румын реформа церковного календаря началась, и они нам тоже приказали с юлианского летосчисления перейти на григорианское. Не пошел на то митрополит, и потому были у него неприятности. Месяца за полтора до прихода Красной Армии он вдруг заявил, что его срочно вызывают в Бухарест, из-за этой, мол, реформы. А мне он сказал, что скорее всего мы больше не свидимся. Боялся ли он большевиков, или и вправду румыны его там задержали,— ничего не известно. Ходили слухи, будто его даже в тюрьме держали, а потом я слышала, будто он в Браиле обосновался. Так или не так, нам от того не легче, митрополия-то без хозяина. Епископ Софроний мог бы, на крайний случай, провозгласить себя владыкой или кого другого избрать, но он одряхлел совсем и ничем не интересуется.

Тикуса посмотрела на племянницу и покачала головой.

— Заболтала я тебя совсем, голубь ты мой. Лицо-то у тебя сосем усталое. Да и мальчонка, верно, проголодался. Зови его, пойдем, уже пора. Перекусим да и отдыхать будем.

* * *

Утром Аннушка проснулась от колокольного звона. Много лет уже она его не слышала, и в эти дни он будил в ней воспоминания о том времени, когда она слушалась не только стариц, но и этого звона, зависела от него. Он ей указывал, что надо идти на службу и не сметь опоздать

Тикусы дома уже не было. Аннушка оделась, поправила одеяло на сыне и вышла.

С грустью наблюдала она, как тянулись к храму черные фигуры монахинь. Первыми прошли не спеша еще более состарившиеся соборные матушки. Важно прошествовала игуменья Поликсения. Несмотря на восьмой десяток выглядела она еще бодро. Вслед за ней — Касьяния и Феофания, а потом все сестры.

Вскоре двор опустел. В открытые двери храма Аннушка увидела, как разом склонились в земном поклоне монахини, стали перебирать лестовки, креститься. Стройно запели на клиросе. «Время не властно над монастырской жизнью,— подумала Аннушка.— Хоть и коснулась война этих людей, жили они все по тому же распорядку, по раз и навсегда принятому уставу».

Аннушка вернулась в дом, одела и накормила Колю, и они пошли к месту гибели Николая Бабыкина. В палисаднике Аннушка сорвала три красные розы и, задумавшись, смотрела на их нежные лепестки.

— Боже, неужели это сестра Анфиса? — услышала она знакомый голос.

Перед ней стоял священноинок Геронтий.

— Здравствуйте. Давненько не виделись.— Она улыбнулась.

— Да, давненько. Разрешите поздравить вас с победой и благополучным возвращением в родные пенаты. А это, никак, сынок ваш?

Она кивнула.

— Я искренне рад вас видеть.

— Я вас тоже. Значит, вы уже навсегда сюда приехали?

— Да как вам сказать... Приехал вот... думал насовсем, да не у дел оказался.

— Чем же вы теперь заняты, отец Геронтий? — поинтересовалась Аннушка.

Священноинок покачал головой.

— И какая сила потянула меня из Вилкова, сам не знаю. Жил я там, слава богу, ни в чем не нуждаясь. Народ на Дунае веры держится крепко, своих пастырей в нужде не оставляет. А сюда приехал на развалины. Место мое отцом Ипполитом занято... И митрополия теперь не та. Не стало былого благолепия, все дышит на ладан. Мужская обитель разрушена. Отец Софроний впал в детство, стал разводить певчих птиц, и нет у него других интересов. Матушка Поликсения и ее сестры буквы устава держатся и тем живут, с них тоже взять нечего. А отец Ипполит... Его сердце ядом переполнено. Советскую власть он ненавидит, и ему эта ненависть глаза ослепляет. Разве нам супротив власти идти надо? Нет, нам надо союз с ней искать, установить добрые с ней отношения.

— Помнится, митрополит Пафнутий *вам* завещал кафедру.

— Да, и мне на нее полагалось взойти еще в сорок четвертом году. Но оккупанты не захотели меня. Им был более по нраву Тимофей Качалкин, который молебны за них служил. А где он теперь? Убежал вместе с теми, кто убивал наших людей. Своим поведением он на всю нашу старообрядческую церковь тень навел. Недаром отмежевались от нас московские святители. Мы им сколько писем писали, а они даже ответа дать не изволили. Вот ведь что у нас.

— А вы не хотели бы уйти в мир? Выглядите вы еще молодо...

Аннушка отметила про себя и живость глаз Геронтия, и пышность его волос.

— Да... И начать жизнь сначала? Куда уж мне, милая с моим купеческим происхождением и монашеским прошлым.

— Мое происхождение тоже ведь не из лучших.

— Вы — совсем другое. Вас сюда к нам беда занесла... А сейчас вам гордиться можно — ордена и медали себе заработали. Это удивительно — женщины на войне стали героинями... А чем же вы сейчас думаете заняться?

— В медицинский институт поступила.

— Похвально, дочь моя, похвально, разумом вашим, как и красотой, я всегда восхищался.

Снова зазвучали колокола. Удивленная, Аннушка поглядела на колокольню. Там стояла Тикуса, освещенная

яркими лучами утреннего солнца. Она была вся в движении и весело дергала то за одну, то за другую веревку. Колокола слушались ее, и казалось, что они ликовали вместе с ней.

— Обедня кончилась,— прокричал Аннушке Геронтий.— Но экономка для вас старается. Редкостный, должен сказать, человек ваша тетушка.

Аннушка попрощалась с Геронтием и взяла Колю за руку. Они вышли за ограду женской обители, пересекли дорогу и углубились в митрополичий сад. Он заметно поредел. Стволы старых яблонь были исковерканы осколками бомб и снарядов. За садом лежали развалины мужской обители. От собора уцелела лишь восточная часть с алтарной абсидой[1] Теперь с нее взирал на Аннушку шагающий по облакам Христос в ярко-голубом плаще. Тело его было изранено осколками, а правая рука, приподнятая кверху, наполовину выщерблена. Перед собором высилась огромная груда камней, оставшихся от колокольни.

Аннушка присела на кусок плиты, сдув с нее пыль, и положила розы на серые камни. Она вся ушла в воспоминания и перебирала в памяти мельчайшие детали далеких июньских дней, мучаясь чувством неизбывной боли.

Мальчик, видя, что мать какая-то не такая, как всегда, испугавшись слез ее, появившихся внезапно, притих, сел в сторонке и ни о чем не спрашивал, как будто ждал, когда она выйдет оттуда — из своих мыслей. Сзади послышались чьи-то шаги и осторожное покашливание. Он обернулся и увидел военного.

— Здравствуй, малыш! — сказал тот ему шепотом.

— Здравствуй! — последовал ответ.

— А почему эта женщина плачет?

— Это моя мама. Она плачет, наверно, потому, что ей невесело.

— Вот как! А почему же ей невесело?

— Мне тоже невесело... Смотри, как тут некрасиво,— все развалено.

— Да, развалено, но ведь можно все построить заново. Разве не так?

---

[1] *Алтарная абсида* — пристройка в восточной части церкви, отделенная от остальных помещений иконостасом.

— Так... А мама это знает?
— Посиди тут, я пойду скажу ей об этом. Идет?
— Идет.
— Простите, я, кажется, вам помешал...
Аннушка вскинула голову и, вскрикнув «Ой», вскочила.
— Вдовин? Живой! Откуда?
Он порывисто обнял ее.
— Эх, сестренка! И чему удивляетесь? Разве не благодаря вам я живой? Кто мне кровь дважды дал? Кто меня с ложечки поил-кормил? Ну, припоминаете? То-то же...
От широкой улыбки Вдовина, от его низкого басовитого голоса Аннушке сразу стало теплее.
— Я ведь пыталась вас разыскать,— сказала она.— Друзей-то у меня не осталось... это, во-первых. А во-вторых, так хотелось поговорить с вами о Николае — вы ведь лучшим другом его были. Приехала я в Ростов-на-Дону, где мы вас оставили, но мне сказали, что клинику Богораза уже эвакуировали.
— Вот совпадение! Ведь и я вас разыскивал. Чувствовал себя все время в долгу перед вами. Хотел как-то отблагодарить: ведь я вам жизнью обязан. Ну и...— он смутился,— не могу не выразить вам своего восхищения. Сколько у вас мужества — просто диву даешься!
— Ну, что вы, Володя, какое там мужество! Просто была война и каждый делал свое дело. А как вы все-таки здесь очутились?
— Я, понимаете ли... потерял всех родных. Под Харьковом перед войной они жили. Бомбили их немцы нещадно, мало что от поселка уцелело. Ну и в наш дом бомба попала. Мать и двое братишек младших сразу погибли. А отец на фронте голову сложил, на Втором Украинском. Вот я и попросился в эти места. И потому, что воспоминания хорошие остались, и потому, что мне здесь всегда нравилось. Я по-прежнему на военной службе. Живу недалеко отсюда. Узнал, что вы приехали, и сразу примчался. Машина у меня своя, я вас на ней могу в город отвезти, хотите?
— Спасибо, не откажусь. А вы, я вижу, в чине майора?
— Да. Я ведь, как поправился после ранения, ушел на фронт. В Белоруссии воевал. Еще два раза ранен

был. А вот жив остался — везучий. Да и у вас, я смотрю, орденов немало,— Вдовин улыбнулся, взглянув на орденскую колодку, которая была у Аннушки на груди.— Тикуса, пока вы спали, рассказала мне про ваши будни военные. Так вы решили в медицине остаться?

— Да, решила. Поеду вот в Черновцы[1]. Хоть и поздновато, но выучусь на врача.

— Для вас не поздновато, вам только врачом и быть. Кем же еще?

— Володя, раз вы здесь уже давно, то, наверное, знаете, где Николай похоронен?

— Мне удалось установить, что тела погибших из развалин колокольни были извлечены. Там нашли женщину и двоих мужчин. Некоторые считали, что женщина эта — вы. Говорят, их закопали на монастырском кладбище, но точно сказать никто не может. Там же похоронены и бойцы, погибшие при защите заставы в первый день войны. Идемте туда, я вам покажу.

— Коля, посиди здесь, я скоро вернусь,— сказала Аннушка сыну.

Они прошли мимо могил белокриницких митрополитов, пересекли сад и вышли на широкую поляну. Там возле старого деревянного прясла возвышался холмик земли, поросший зеленой травой, а на нем стояла фанерная тумба, покрашенная в ярко-красный цвет, с жестяной звездочкой на остроконечном верху. На тумбе была короткая надпись: «Слава советским пограничникам, погибшим при защите рубежей нашей Родины».

Они постояли здесь молча и пошли обратно.

— Выяснить фамилии погибших нам пока не удалось,— сказал Вдовин,— но мы не теряем надежды. Думаем установить хороший памятник этим пограничникам. Может быть, поставим его в центре села. Пока не решили. А теперь я хочу вам показать еще одну могилу.

Они пересекли улицу, еще один старый яблоневый сад и оказались на погосте женского монастыря. Вдовин остановился возле одного из крестов.

«Здесь покоится прах инокини Анфисы, погибшей от снаряда 23 июня 1941 года»,— прочитала Аннушка надпись.

---

[1] После войны этот город стал называться Черновцы, а не Черновицы.

— Да, я знаю. Тикуса мне рассказала про эту могилу. Ей, бедняжке, много пришлось вынести из-за меня.

— И ведь вынесла, вот что поразительно. Маленькая старушка, а какая стойкая!

— У нее закваска крестьянская, отсюда и стойкость. Из семьи-то она простой, крестьянской вышла. Кстати, она, верно, заждалась нас к обеду. Так мы уж пойдем.

— Я провожу вас. Идемте за Колей.

Через неделю майор Вдовин отвез Аннушку на своей машине в Черновцы, и началась для нее студенческая жизнь.

С Колей она бывала теперь только по вечерам, когда забирала его из детского сада, да утром. Зато воскресные дни они проводили всегда вместе, читали детские книжки, гуляли в парке и по городу.

Жили голодно, стипендии и небольшой пенсии, которую они получали за Николая, не хватало, и Аннушка скоро вынуждена была взять на себя ночные дежурства в больнице. Ребенка приходилось брать с собой, а иногда она оставляла его в комнате одного, заперев на ключ. Но никто не слышал от нее жалоб на трудности, и Вдовин, навещавший ее время от времени,— тоже. Однако он старался помочь, подкормить мальчика, хотя удавалось ему это не всегда. Анна упрямилась.

— Сколько люди для меня уже сделали,— говорила она,— пора и самостоятельной быть, ведь не семнадцать мне.

Она не хотела, кроме того, ни от кого быть зависимой, даже в самом малом.

Иногда он шел на хитрости. Приезжал, уговаривал:

— Знаешь, Аннушка, выдали мне сегодня дополнительный паек... как офицеру. Но тебе же известно, что я питаюсь вместе с солдатами и для себя отдельно ничего не готовлю. Выручи меня, пожалуйста, забери это все себе, пока свежее.

Или привозил от Тикусы посылку, в которую раза в три больше, чем от нее, вкладывал от себя. Потом он стал незаметно подсыпать в ее мешочки крупу и сахар, а она удивлялась своей экономии.

А в праздники от его подарков избавиться было невозможно. Тут он давал волю своей щедрости: пользуясь случаем, привозил лакомства и продукты, кое-что из одежды Коле. Не удавалось ему вручать только деньги. Тогда он пошел на сговор с Тикусой. Когда он видел, что маленькой семье становится совсем туго, он давал Тикусе деньги, и она под разными предлогами посылала их по почте от своего имени.

Весной в Черновцы приехал Поликарп.

Однажды вечером Аннушка с Колей, войдя в дом, увидели в коридоре человека, сидящего на чемодане. На нем было добротное пальто и шляпа.

— Поликарпушка? Ты ли это?

— Здравствуй, сестрица,— засмеялся он радостно.— Именно я. А что, не похож стал?

— Здравствуй. Ты похож на преуспевающего коммерсанта,— пошутила она, когда они обнялись и прошли в комнату.

— Ничего удивительного, ножичек хорошо меня кормит.

— Какой ножичек? — у Аннушки вытянулось лицо.

— Да не пугайся, не разбойник я,— ухмыльнулся Поликарп.— Ножичком на жизнь зарабатываю — вырезаю из дерева всякую всячину. Посмотри лучше, что я вам привез.

Открыл он чемодан, а там лежали свертки с салом и мясом, банки с медом и маслом, мешочки с мукой и крупами.

— Роскошь-то какая,— Аннушка даже ахнула.— Неужели это нам?

— А кому же еще тащил все это? Хоть ты и не писала про свою житуху толком, но я догадывался. Время сейчас такое — не сразу питание налаживается. Трудновато с продуктами. Главное, сестрица, что это свое, не купленное. У меня ведь теперь своя семья, дом, хозяйство.

— Ты так и не написал мне, на ком женился...

— Знаешь, тот друг мой, о котором я тебе еще до войны рассказывал,— политический, что каторгу тоже отбывал,— когда я к нему в Вижницу приехал, принял меня как нельзя лучше — приютил и устроил на работу в школу художественного ремесла. Он там учил ребят резьбе по дереву. А я их стал обучать окраске. Правда,

долго поработать не пришлось, потому что пришли оккупанты и школу закрыли. В доме, где она находилась, разместили хозяйственную команду по заготовке и вывозке леса в Германию. Понагнали пленных и заставили их валить лес, а потом доставлять его на себе к дорогам с таких мест, где и машине трудно пробраться. Ох, и поиздевались фашисты над ними. А скольких расстреляли! В сорок втором мы устроили пленным побег. Переправили их в Верховину, под Жабье[1] И создали они там партизанский отряд. Каким-то образом фашисты дознались, что в этой операции принимал участие и мой друг. Я вовремя скрылся, а его схватили. Пытали страшно, а потом убили. Остались жена и ребенок. Решил я отомстить коменданту за его смерть. Пробрался ночью в его дом и задушил гада, а после ушел в горы. Жил у гуцулов на полонинах[2], пас скот, рубил, сплавлял лес. А по ночам караулил фрицев у дорог. Они прозвали меня тогда чертом и даже обещали большие деньги тому, кто меня поймает или выдаст. А мне удалось связаться через одного гуцула с партизанским отрядом, и я в нем остался вплоть до самого апреля сорок четвертого, когда Красная Армия снова пришла на Буковину. Школу нашу вновь организовали в Вижнице. И я там мастером, учу ребят, как раньше.

— Все рассказал, Поликарпушка, а так и не сказал, на ком женился-то?

— На жене моего погибшего друга. Всю войну помогал ей, привыкли мы друг к другу. Теперь у меня и свой парнишка, воспитываем двоих. Если тебе совсем трудно с Колюшкой станет, привези его к нам. Ладно?

— Спасибо, Поликарпушка, но скажу тебе, что расстаться с Колей — для меня горше всего.

Матушка Тикуса устала. Она устала от бесконечных хлопот по хозяйству, от забот о пропитании сестер, от распрей, которые начались среди оставшихся в Белой Кринице святителей.

---

[1] *Жабье* — горный поселок, теперь носит название «Верховина» и находится в Ивано-Франковской области.

[2] *Полонины* — большие поляны в горах, где пасут   косят сено.

Она сидела перед открытым окном светелки. Ссутулилась, уперла подбородок в березовый посошок. Внизу перед ней простирался зеленый монастырский двор с цветущими клумбами. Возле окон шелестели листьями вишни, унизанные сочными плодами. Купола и стены собора, раскаленные лучами горячего солнца, казались сегодня светлее, чем обычно.

«Больно щедро нынче светило,— подумалось старушке,— все повыжгло. Пшеничкой амбар не заполнишь, гречихой и просом — тем паче. Похоже, что и картошки не наберется. Яблок вот только и запасем впрок, а что с них? Чем кормить своих зимой буду? А скот? Луга все повыгорели — где сена взять?»

Чем больше Тикуса размышляла, тем мрачнее становилась. «Похоже, что никому, кроме меня, до всего этого дела нет. Поликсения? Она, знай себе, строж чает над сестрами, а как о кормежке заговорю — н воротит, не любит о хлебе насущном думать. Смотрит неласково: на то, мол, у нас и экономка есть. И ку идем? Что будет с митрополией? Такие распри нача лись... Тихон — как в воду канул. Иноки бурчат, друг на друга косятся. Головы над ними нет, так и дают себе волю. И Поликсения не видит, что за ее спиной делается, какие свары затеваются. Самое бы время волю высокопреосвященного Пафнутия исполнить и Геронтия в митрополиты возвести. Но как? Настоятель Покровского собора отец Ипполит терпеть его не может, а Софроний против Ипполита и пикнуть не смеет. А и злой же этот Ипполит, сколько в нем желчи! Обидели они священноинока, хотел он уже опять на Дунай ехать, да тут в сельской церкви место пустым оказалось, вот и взял этот приход. Службу-то как ведет справно! И хор подобрал неплохой. Умеет он это... Недаром в Покровский-то ходить перестали. Потому и налоги платить нечем. Крыши все текут, дыры в стенах не заделаны до сих пор. Ипполит одними своими узкими недобрыми глазками оттолкнуть может, а уж как рот откроет — хоть беги: что за голос!.. И наградил же господь таким! Да ладно молчал бы побольше, так нет — поносит Геронтия во все тяжкие, а все потому, что соперника в нем видит: сам хочет митрой-то завладеть. Ох, грехи наши тяжкие...

А не написать ли в Румынию верным людям, чтобы поискали Тихона? Может, он не найдется — так объ-

явим, что пропал. А может, позабыл про нас, мы ему не нужны — так развяжет нам руки. Тогда можно будет постоять за Геронтия. Лучше-то не найдешь».

Что задумала Тикуса — сделала. Списалась со своими людьми, которым доверяла всегда.

— И почему ты все это на себя взваливаешь, Тикусочка? — спрашивала Аннушка, когда приезжала.

— Не взваливаю, душа моя. Само собой как-то получается, что увязаю я в этих делах. Хотя у меня, конечно, сердце не на месте. Подумай: на весь мир славилась митрополия, а теперь на наших глазах хиреет, а мы сделать ничего не можем.

— Да ты уж очень убиваешься, нельзя так.

— Что сделаешь? Горе-горевать — не пир пировать.

— Ну, Тикусочка, горе да беда с кем не была.

— Ох, родная, ведь конца-края им нет. И впереди нам не светит...

— В конце концов, тут и постарше тебя саном есть — игуменья, епископ Софроний. Потом еще священноинок Геронтий и отец Ипполит. Их разве все это не заботит?

— Только мы с Геронтием и думаем о митрополии. Что у отца Ипполита на уме, ты знаешь, а епископ Софроний его поддерживает. Матушки же наши считают, что их дело сторона. Не понимают, что коль запустеет все — и нашей обители конец придет, и им бедовать придется. Игуменье, правда, и сестрам ее можно и не думать о завтрашнем дне. Другая их сестра в селе свой дом имеет, еще давно с помощью Поликсении построила. А золотых вещичек ими столь припасено, что еще на два века хватит. Это вот мне или инокине какой, случись что-нибудь с обителью, куда пойти, где голову преклонить?

— И ты так можешь говорить? Мой дом — всегда твой, запомни это.

— Милая ты моя, да ведь привыкла я сама себе хозяйкой быть! Так и буду до самого смертного часа, уж не обижайся, маков цвет. Я, знаешь ли, надумала тут кое-что предпринять. Напротив нашей обители, как раз через дорогу от Покровского собора, продается рубленый домик. Маленький, неказистый, а все же был бы свой. Есть кладовые, подвал и даже банька во дворе. В своем домике и моленную можно устроить, и часовен-

ную службу вести, если до разорения полного дойдет обитель.

Тикуса печально помолчала.

— Не дожить бы мне до такого часа,— перекрестилась она.— Не дорого за домишку-то просят, наскребу как-нибудь эти деньги. А ты уж попроси Меркулова, пусть справит мне бумаги. Чтобы по закону все было... Меркулов-то тебя уважит. Он, как с войны вернулся, не раз вспоминал про тебя и меня все расспрашивал.

— Да я с ним виделась уже два раза. Насчет домика поговорю, конечно. Наверное, не так уж сложно все оформить.

Чем более ветшала митрополия, тем энергичнее действовала матушка Тикуса. Мечтала она, чтобы состоялся освященный собор. Пригласила Белая Криница на него святителей Молдавии и Украины.

В Московскую архиепископию приглашения не послали, зная, что не в ее интересах возрождение митрополии и что она стремилась сосредоточить духовную власть на Рогожском кладбище.

Тикуса и Геронтий продумали план, осуществив который, можно было бы вернуть митрополии былую славу, но отчетливо не представляли, как все исполнится, так как не знали отношения всего священства к состоянию Белокриницкой церкви.

Местом для встречи выбрали Кишинев. Здесь была епископия Молдавская и Измаильская, старообрядческий храм. Из Тираспольского, Бендерского, Кагульского, Измаильского, Новонекрасовского приходов и из Винницкой епископии должны были приехать представители. Священноинок Геронтий выехал в Кишинев заранее. Заранее были разосланы и приглашения. Собраться решили осенью, до наступления дождей и холодов — 8 ноября, в день архангела Михаила и прочих сил бесплотных. Матушка Тикуса уповала на то, что этот святой — избавитель от всяких бед и скорбей — не допустит провала их замысла.

И вот этот день настал. Приближалось столетие со дня основания митрополии, и Тикусе казалось, что накануне такой даты никто не посмеет оспаривать прав и достоинств Белой Криницы.

Епископ Софроний, священноинок Геронтий, игуменья Поликсения, казначейша Касьяния и экономка

Тикуса собрались в дорогу. Однако епископ перед отъездом тяжело занемог и послал вместо себя отца Ипполита.

Кишиневская старообрядческая церковь вместила много людей. Перед аналоем в праздничной ризе стоял епископ Иосиф, ведший службу. Как только торжественный молебен закончился, протоиерей Пагкратий — настоятель церкви — обратился к собравшимся:

— Дорогие братья и сестры, возвещаю вам, что наш храм по случаю предстоящего столетия Белокриницкой иерархии посетили благочестивые христолюбцы, ревнители святоотеческой веры из самой Белой Криницы, Винницы, Одессы, Измаила и многих других мест. Помолимся о их здравии.

Собравшиеся враз низко поклонились гостям, а отец Пагкратий прочитал канон о здравии и спасении души.

После трапезы снова все пошли в церковь. Там уже были поставлены посередине столы, а вокруг них — скамьи. Для епископов стояли мягкие кресла. Все стали усаживаться.

— Занимайте, гостеньки дорогие, места, обсудим наши дела наболевшие,— приглашал всех настоятель.

— Поскольку здесь собралось широкое представительство, от белокриницких гостей наших поступило предложение обсудить положение митрополии,— сказал настоятель Вилковской церкви отец Серафим,— и считать наше широкое собрание освященным собором.

— Ого, куда хватанули! — бросил реплику Винницкий епископ Вениамин.

— Может ли быть освященный собор без московского представительства? — возразил и Кишиневский епископ Иосиф, о котором говорили, что он «ставленник Москвы».

— Суть не в названии нашего представительного собрания, а в решениях, которые оно примет для упрочения Белокриницкой иерархии, — сказал священноинок Геронтий.

— А кто нас уполномачивал выносить такие решения? — грубо спросил епископ Вениамин.

— А кто уполномачивал инока Павла хлопотать о создании митрополии? — парировал Геронтий.— Каждый истинный христианин не станет возражать против того, что может упрочить митрополию и нашу веру.

— Почему все же не пригласили представителей архиепископии Московской и всея Руси? — поинтересовался епископ Иосиф.

— Лучше всего здесь сперва решить — нас ведь вон сколько.., а потом обговорим и там,— спокойно ответил Геронтий.

Собравшиеся одобрительно зашумели, и епископы больше не противились обсуждению.

Священноинок Геронтий начал речь:

— Я обращаюсь к вам, ревнители древлего благочестия, братья и сестры! Огромные трудности сейчас переживает наша церковь. Как вам известно, митрополит Тихон покинул Белую Криницу по неизвестным причинам, и мы о нем ничего не знаем. Не заботится он более о своей пастве, не шлет ей пастырского благословения Было время, когда он не гнушался восхвалять врагов наших, служить молебны о их здравии. Это было военное время. И нас он покинул в самое тяжелое время, когда митрополия нуждалась в скорейшем восстановлении. Вы ведь знаете, как она пострадала от рук фашистских: митрополичий собор и большинство надворных построек разрушены, наша библиотека, где было богатейшее собрание древлепечатных книг, погибла безвозвратно, похищено и погублено немало ценностей и реликвий. Так вот, владыка не посмотрел на все то и скрылся от нас. И не дерзнул бы я здесь выступить против владыки, если бы он не поставил своими действиями под угрозу само существование Белокриницкой митрополии. Я знаю — нет среди вас человека, равнодушного к ее судьбе, и потому взываю к вашей милости, братья и сестры, чтобы вы не дали митрополии окончательно распасться, не дали погибнуть делу незабвенного Павла Белокриницкого. Ведь положение еще можно спасти. Женская обитель стоит целехонька. По счастливой случайности, она осталась почти в неприкосновенности. Старцы и старицы, иноки и инокини верны митрополии, но им нужна помощь, им не на что опереться. Подумайте, что будет, если паства, измученная нуждой и отсутствием пастыря, разбредется, а митрополия перестанет существовать? Разве не большой урон будет нанесен нашей вере?

— У нас есть теперь общепризнанный пастырь — архиепископия Московская и всея Руси,— сказал епископ Вениамин.— Москва испокон веков была центром русского старообрядчества.

— Почему же тогда не Москва, а Белая Криница слала в Россию староверческих архиереев, в том числе и на Рогожское кладбище?! — сказал Геронтий.

— Другие были тогда времена,— заметил епископ Иосиф.

— Почти сто лет Белая Криница почиталась центром старообрядчества и столько же Московская архиепископия подчинялась ей. Так неужели же мы допустим, чтоб погибла митрополия? — продолжал страстно Геронтий.— Еще не поздно укрепить пошатнувшийся столп. Давайте же сделаем это вместе, чтоб потомки потом не упрекали нас в бездействии и безразличии.

В церкви стало совсем тихо. Отец Пагкратий грузно поднялся со своего места.

— Не можем мы, как святители, остаться равнодушными к судьбе митрополии, коя всегда славилась своим благочестием и зело много приверженцев имела. По мне, нужно решить вопрос о преемнике Тихона.

— Погодите,— вмешался епископ Иосиф,— мы не есть освященный собор, как же мы можем решиться на это?

— А кто, по-вашему, если не мы, возьмет на себя это? — возразил отец Пагкратий.— Когда Павел Белокриницкий привез в Белую Криницу первого митрополита Амвросия, он о том московских не спрашивал. Да и с другими митрополитами было бы то же самое.

— Кого же вы предлагаете в преемники? — раздались голоса.

— Им может стать любой из наших высокочтимых епископов.

— Значит, вы уверены, что кто-то из нас бросит насиженное место и поедет ради должности митрополита, которая веса никакого не имеет, в глухую деревеньку, на самую границу? — недовольно подал голос епископ Вениамин.

— Ну, коли вы отказываетесь, есть и другие достойные кандидатуры. Священноинок Геронтий, например,— по всему подходит. Можно было бы сегодня же произвести его в епископы.

— Да, да, сегодня же хиротоновать[1],— поддержала настоятеля матушка Тикуса.— Епископ Софроний стар и слишком беспомощен. Он не мог даже приехать в Кишинев. Долго ли он протянет? Если с ним что случится, мы вовсе осиротеем.

— А разве ты ручаешься за священноинока, матуш-

---

[1] *Хиротоновать* — рукоположить, произвести в священный сан.

ка? — спросил вкрадчиво отец Ипполит.— Чем он заслужил такое возвышение? Мы слышали, что за ним грех тяжкий числится.

— Человек он достойный во всех отношениях,— горячо стала доказывать Тикуса,— начитанный, в службе знающий, в делах не теряется никогда. И Москве не чужой человек, там хорошо его батюшку знали. Нет, недаром назначил его своим преемником митрополит Пафнутий. В моем присутствии он завещал ему это.

— А за что же он его в далекий дунайский монастырь упрятал?

— Тот грех невелик, совершен был им по молодости еще до пострига и давным-давно прощен. Не к чему его вспоминать сегодня.

Тут матушка Поликсения решила и свое слово молвить:

— На московской кафедре и не с такими грешками сиживали. Взять хотя бы Антония Шутова или епископа Софрония, в мире Степана Жирова, который двор постоялый держал и к душегубству причастен... Геронтий — агнец невинный по сравнению с ними. Давно уж он очистился и достоин только почитания.

— Отчего же епископ Софроний до сих пор не ввел его в этот сан? — спросил епископ Иосиф.

— Мы хотели ввести его освященным собором.

— Сразу в митрополиты?

— А почему бы и нет? — опять вступила в разговор Тикуса.— Высокопреосвященного Кирилла из простого дьяка сразу в епископы и в митрополиты произвели — всего за одну неделю. Нам тоже не возбраняется быстро все устроить.

— А если Тихон не захочет снять с себя сан — тогда что получится? — спросил киевский священник.

— Дело не только в этом,— добавил епископ Иосиф.— В середине прошлого века старообрядчество вынуждено было обосноваться в этих местах, потому что царские власти учиняли гонения на нашу веру и иерархию создать не позволяли, даже разогнали наши скиты в Иргизе и Ветке, в Стародубье и Керженце. Теперь же вряд ли есть необходимость сохранять Белокриницкий центр. Москва — всему голова, и не лучше ли его перевести туда?

— Еще чего не хватало? — вознегодовала матушка Тикуса.— Может, и храмы туда по камушку перенесете?

— Храмы не храмы, а дорогие всем реликвии стоило бы перевезти туда. Сохранности больше будет.

— Простите, высокопреосвященный, но реликвии эти не Москвой добыты и не Москве ими владеть.

— Да, да, нечего на чужое добро зариться! — пришла на поддержку казначейша Касьяния.

На белокриницких гостей посыпались доводы.

— Вы сами говорили, что ваше священство разбежалось, аки тараканы, побросав свою паству, а теперь хотите из ничего новый центр создать да еще и Москву ему подчинить!

— И возвести в митрополиты человека безвестного...

— Мало что безвестного, но и сомнительного!

— Что значит сумнительного! — с досадой воскликнула Тикуса.— Вы же о нем ничего не знаете и не хотите узнать, а судить готовы!

Спор разгорался все сильнее. Потом священство стало даже ссориться, и не известно, чем бы все кончилось, если бы епископ Иосиф, тщетно урезонивавший собравшихся, видя, что им все равно ни до чего не договориться, не предложил разойтись и тем кончить недостойный разговор в божьем храме.

Белокриницкие представители уехали домой удрученные и обиженные.

* * *

Пришли, наконец, вести из Румынии. Тихон отыскался в Браиле и даже сам прислал письмо.

«Господи Исус Христос, сыне божий, помилуй нас, аминь! — писал он.— Преосвященный наш епископ Софроний с соборными во Христе братиями, сестрами, здравствуйте! И вам многие лета, матушка Тикуса!

Посылаю вам свое пастырское благословение и пожелание доброго здравия во славу древлеправославной церкви. На сем извещаю вас, что мне стало известно ваше беспокойство, и потому спешу вас заверить, что повода для него не вижу. Хотя я нахожусь теперь в своей резиденции в Браиле, заявляю, что я был и есть единственно законный старообрядческий митрополит Белокриницкий и всея Руси и никто меня до самого смертного часа этого сана лишить не может. А как помирать стану, то и преемника назначу из достойных того иереев. Сейчас же могу вести дела сам. Воля моя такова, чтобы отец

Софроний остался моим доверенным лицом и представлял меня в Белой Кринице. Всякие же попытки созвать освященный собор без моего ведома и участия расценивать буду незаконными и противными богу. Посылаю вам наказ не поддаваться никаким искушениям и исполнять всегда мою волю. Письмо сие одобрено членами освященного собора, проживающими в Румынии».

Тикуса, в сильнейшем гневе, заставляла Геронтия еще и еще раз перечитывать эти строки.

— Бог мой, не такого письма я ждала, лучше бы и совсем не получать было. Почему же высокопреосвященный молчит о том, что может с нами статься. Прорехи латать нечем, обитель нищает. Инокини, что помоложе, расходятся... С налогами, благодарение богу, хоть ты выручать стал.

— Только из-за вас, матушка,— признался Геронтий,— свои кровные жертвую.

— Но главное, что опоры нет у нас. И что же мы теперь делать будем? Ведь высокопреосвященный под корень нас подрезал.

— По-моему, надо искать помощи и поддержки у московских святителей. Пришло время поклониться и им. Не раз и не два они епископов получали от нас. Может, не оставят в беде? Не поехать ли нам, матушка, на Рогожское? Все расходы возьму на себя.

— А почему бы и не съездить? — живо согласилась Тикуса.— Дело того стоит, и хлопоты не в тягость. Если оттуда ни с чем вернемся, будем сворачивать обитель.

— Мысли у меня кое-какие есть насчет этой поездки.

— А ты не спеши, милый, есть еще время, обсудим. Приходи-ка завтра к нам на чаепитие. Вместе и пораскинем умом-то.

*

Матушка Тикуса и священноинок Геронтий прибыли в Москву. Когда поезд остановился под огромной стеклянной крышей Киевского вокзала и матушка Тикуса выглянула в вагонную дверь, ей сразу бросились в глаза окладистые бороды встречающих их священников. Их было трое. Не торопясь, по-уставному, поздоровались, и гости передали встречающим скромные гостинцы: пару корзин яблочек свежих, да пару мешков

сушеных, да корзину яичек ко святой пасхе, да бочонок яблочного вина, да туесок меду.

Сели в две машины — такси и поехали на Нижегородскую улицу. Дорогой беседовали о здоровье, о том, как гости доехали.

Тикуса дивилась огромным домам, которые видела из окна машины, множеству людей на улицах, большим магазинам.

— Вот это и есть Рогожское кладбище,— сказал, улыбаясь, протодьякон Сергий, показывая на купола церквей, возникшие из-под железнодорожной насыпи,— так сказать, оплот древлего благочестия. Все бури, все невзгоды выдержало сие святое место и почти двести лет и стоит прочно и нерушимо. В Москве из двадцати староверческих храмов только эти на Рогожском и остались, да у беспоповцев еще на Преображенском кладбище уцелели. Когда-то весь рогожский поселок, с монастырями и гостиницами, принадлежал нам. Теперь лишь Покровский храм у нас остался да вон та колокольня. А все остальное уже не наше. Вот тут фабричных людей учат, здесь столовую сделали. А Покровский мы сберегли. Древний храм, по проекту архитектора Казакова его построили еще в 1792 году.

Они подошли к небольшому одноэтажному кирпичному домику с надписью на вывеске: «Старообрядческая архиепископия Московская и всея Руси».

В просторной комнате, куда провели гостей, стояли канцелярские столы, а в переднем углу — киот со старинными образами и горящими перед ним лампадами. На одном из столов кипел самовар, на другом монах беспрерывно стучал на пишущей машинке.

Из-за столов поднялось несколько священнослужителей. Отец Сергий стал представлять их гостям:

— Протоиерей Василий Королев — настоятель кафедрального Покровского собора, протоиерей отец Петр, секретарь и он же управляющий делами архиепископии Кирилл Александрович Абрикосов.

Затем было названо еще несколько лиц, возглавляющих Московскую старообрядческую общину. После того как все поздоровались, Абрикосов взял слово.

— Мы рады видеть в Москве дорогих белокриницких посланцев. Лет тридцать, если не более, не видели мы у себя посланцев митрополии. И наши представители давно там не бывали. Добро пожаловать, мы вам

очень рады. Желаем вам время в Москве провести приятно и с пользой, познакомиться с нашими служителями и древнеправославными святынями.

— Благодарим вас за добрые слова, за встречу, за то, что не позабыли вы о Белой Кринице,— отвечала Тикуса.— Мы тоже рады возобновить отношения, которые не по нашей вине давно прекращены были.

— Мы слышали, что велики убытки, понесенные вами за войну?

— Да, убытки огромные — почти десять миллионов. Супостаты не пощадили ничего. Только женская обитель стоит невредимо, да и та не без ущерба. Купол Покровского собора пробит снарядом, и до сих пор в таком виде красуется. И обирали нас не единожды в войну. Теперь — «чистенькие», бедны то есть, совсем без средств. Ремонт купола нам своими силами не осилить. Неурожай нас тоже сильно подвел. Хозяйство как-то незаметно запустили и теперь не можем вывезти.

— А что с митрополией, матушка? До нас слухи доходят тревожные, будто бы митрополит бежал с оккупантами, а теперь пытаются на его место поставить другого.

— Да вам, я вижу, все известно. Это, признаюсь, самое большое наше горе. Осудить мы владыку за такой шаг не можем, не дано нам его судить. Только попали мы в труднейшее положение, потому что епископ Софроний, оставшийся вместо него, стар стал и немощен.

— А разрешите спросить еще, матушка. Почему вы подняли вопрос о преемнике не в Белой Кринице, а в Кишиневе?

— Потому что там была возможность собрать многих ревнителей старой нашей веры, и мы к ним воззвали с надеждой, что наконец-то будет глава у митрополии и займется делами, которые дальше откладывать никак нельзя.

— Спасибо, что нам это уяснили, матушка, а теперь давайте присаживайтесь поближе к самоварчику. С дороги чайку надо вам испить.

За чаем беседа пошла непринужденнее. Поговорили о том, о сем... Потом Геронтий стал расспрашивать о своих родственниках, но матушка Тикуса сказала ему вполголоса:

— Не ради твоих родичей приехали мы сюда за тридевять земель, отложи это, ради бога.

Беседа опять вошла в прежнее русло.

— Что же думаете получить от этой поездки? — спросили гостей напрямик.

— Не скроем наших желаний, дорогие хозяева. Мы ищем союза с вами и хотим просить у вас помощи не только материальной, но и духовной. А более подробно мы хотели бы обсудить эти вопросы с владыкой.

— Прежде чем высокопреосвященный архиепископ Московский и всея Руси Иринарх изволит принять вас, нам следует познакомиться подробнее с тем, что вы намерены с ним обсуждать.

— Мы бы хотели изложить все ему лично.

— Не волнуйтесь, все так и будет. Он вас примет, и вы побеседуете. Но все-таки скажите, чем конкретно можем мы вам помочь?

— Направить нам иерея или хиротоновать нашего. Ведь это самое больное — мы же вам объяснили.

— Слава богу,— перекрестился отец Василий,— теперь у нас недостатка в архиереях нет. Высокопреосвященный Иринарх сам руководит этим. За годы войны он благословил более пятидесяти священников и архиереев, открыл много новых приходов и возродил не одну старообрядческую общину.

— А почему бы не занять архиепископу Иринарху пустующую белокриницкую кафедру? — спросил Геронтий.

— Архиепископ Иринарх имеет все права на эту кафедру, но может возглавлять ее только тут, в Москве. И всем старообрядчеством он может руководить только отсюда, с Рогожского.

— Что же, по-вашему, надо сделать, чтобы митрополит Белокриницкий находился там, где и подобает ему находиться,— в Белой Кринице? — спросила Тикуса.

— А у вас есть достойная кандидатура? — вместо ответа спросили священники.

— Да, имеется. Вот священноинок Геронтий, он приехал вместе со мной. Купца Бриллиантова сын, проявил себя как достойнейший своего чина.

— Такое происхождение, как у него, матушка, теперь не украшение, а скорее наоборот. Но дело не в этом. Я не уполномочен вести с вами переговоры на эту тему,— суховато сказал Абрикосов.— Мы доложим о вашем предложении владыке и совету архиепископии.

Каков будет их ответ, не знаю. Но от себя скажу: я думаю, что нового митрополита в Белую Криницу назначать незачем.

— Тогда пусть наш священноинок в сане епископа представляет там архиепископию Московскую и всея Руси.

— Почему же не рукоположил его на месте епископ Софроний?

— Для нас лестно получить епископский сан в Москве,— схитрила Тикуса.

— Я доложу архиепископу об этом. А вы пока не торопитесь, отдохните с дороги, а потом поживите у нас, погостите. Жилье и стол для вас всегда готовы.

— Когда же мы увидим высокопреосвященного Иринарха?

— До святой пасхи вряд ли удастся. Как только возможность такая появится, мы сообщим вам о встрече.

Покровский собор Рогожского кладбища поразил Тикусу и Геронтия своими размерами и богатством убранства.

— Теперь это самый крупный из действующих московских храмов,— с гордостью сообщил им Абрикосов.— До десяти тысяч вмещает. Но славится он больше собранием древнерусской живописи. Большинство икон, которые вы видите, написаны в XIV—XVIII веках московскими, новгородскими, псковскими и владимирскими мастерами. Вот эти византийские иконы — редчайшие, написаны еще до турецкого нашествия. У нас имеются и творения древнерусских мастеров школ Феофана Грека и Андрея Рублева. Все это говорит о то, что московские старообрядцы любят церковную старину, ценят древнерусское искусство. Каждую икону мы бережем как зеницу ока, ибо это наши сокровища. И для потомков мы их хотим сохранить непременно в лучшем виде.

— Как же вам удается это, любезненький? Не посчитай за труд, растолкуй нам.

— Что ж, давайте подымемся наверх, сами увидите. У нас там реставрационная мастерская.

Он показал им часть огромного церковного балкона, отгороженную от другой части ширмами. Здесь стояли иконы, нуждающиеся в реставрации. Абрикосов расска-

зал, как, какими средствами художники дают иконам новую жизнь.

— Ох, а мы-то недомысливали!.. Все, что нам старьем казалось, на церковный чердак выносили и там оставляли безо всякой заботы,— сокрушалась Тикуса.

Ей очень понравились увиденные иконы. Больше всего ее привлек образ Спаса древнейшего византийского письма. Подолгу простаивала она перед ним на коленях, шепча молитвы, и вставала умиротворенной и, как ей казалось, с душой, получившей отдых от земных тягостных хлопот и небесное благословение.

Однажды, когда Абрикосов показывал Тикусе иконы в запаснике, она с гордостью заметила, что и в Белой Кринице еще немало сохранилось редкостных икон. Многие из них были вывезены туда из глубины России.

— Любопытно, любопытно было бы поглядеть на них,— заинтересовался Абрикосов.— Древняя икона — моя слабость. У меня есть собственная коллекция, и я любым случаем пользуюсь, чтобы ее пополнить. Но вы ведь не захотите расстаться со своими, а?

— Приезжай как-нибудь, посмотрим, авось и подарим что-нибудь тебе на память,— пригласила Тикуса.

— А не стоит ли, матушка, что поценнее, доставить сюда, в собор? Не без награды, конечно. Тут оно будет теперь более к месту. Тогда все старенькое подреставрируем.

— Что ты имеешь, любезненький, в виду?

— Иконы письма древнего, в первую очередь, митрополичьи облачения и митру, редкие книги, конечно...

— А нам с чем же прикажете остаться?

— Небезвозмездно, повторяю, просим передать это в архиепископию. Вы же нуждаетесь...

— Так ведь наше-то, что уцелело, цены не имеет. Что вы, к примеру дали бы за жезл первого нашего митрополита Амвросия?

— За тот, который с перламутром?

— За тот самый.

— За него и тысячи рублей не пожалели бы...

— Э-эх... и что для нас нынче тысяча рублей? Как мертвому припарки. За такую реликвию предлагаешь такие крохи? Нет, любезненький, уволь, торговать тем, что для нас свято, пока жива, не собираюсь, и других не допущу!

— С вами, матушка, договориться нелегко!

— Почему же, любезненький? Ты обещай мне хиротоновать Геронтия в архиереи, а я уж не поскуплюсь, чтоб пополнить твою коллекцию. Могу даже уступить вам одну из головок невинных младенцев, замученных персидским царем Саворием.

— Вы их выдаете за святые мощи?

— То есть как? — опешила Тикуса.— Не выдаем, они и есть святые! С Рогожского, как раз, кладбища и были доставлены в Белую Криницу.

— Пусть они будут у вас, мы на них не претендуем.

— Не томи, любезненький, открой, чем отблагодарить можем за архиерейский чин?

— Ну, митру с большим бриллиантом вы ведь не пожертвуете? От икон старинных и «Острогожского Евангелия» тоже не откажетесь?

— Аппетиты у тебя, любезненький, надо сказать, немалые. Но должна огорчить тебя: бриллианта в митре давно нет, его увез с собой митрополит Тихон. «Острогожское Евангелие» погибло в войну вместе с прекрасной нашей библиотекой. Разве что, как я уже сказала, из икон можно кое-что дать... Приезжай, подберем. За нами не пропадет.

— А вдруг там и нет ничего ценного, подходящего?

— Вот и высказался, любезненький!.. Ясно, что ты нас вовсе нищими считаешь. Как бы не пожалел потом...

Вечером Тикуса с возмущением рассказывала Геронтию о своей беседе с управляющим делами архиепископии.

— Коли он такой святоскупец, так обещали бы вы ему все, что он просит, а потом можно и отказать,— посоветовал Геронтий.— В таких делах гибкость нужна.

— Не привыкла я к такой гибкости, не могу смотреть в глаза и обводить вокруг пальца,— отрезала Тикуса.— Ты вот тут по Москве в поисках своих родственников рыскаешь, водку пьешь, чревоугодничаешь, а я дни и ночи в молитвах провожу и пытаюсь спасти все. Не для себя в лепешку расшибаюсь, не ищу никакой себе выгоды, а все равно — от тебя поддержки и ждать, вижу, нечего.

— Что же мне остается делать, матушка? Не убеждать же, что я хочу архиерейского чина. Не могу я Абрикосова упрашивать.

— А я, по-твоему, могу? Для чего мы приехали сюда, скажи на милость?

— Разве вы не видите, матушка, что напрасно приехали? Белокриницкая митрополия всем им поперек горла стала. Не хотят они ее больше, сами желают быть во главе всех поповцев.

— Пускай их, а нам обхитрить их следовало бы.

— Из нашей хитрости ничего не вышло в Кишиневе, а тут и подавно не выйдет. Все одно — и отсюда уедем не солоно хлебавши,— безнадежно махнул рукой Геронтий.

На другой день после этого разговора Геронтий отсутствовал целый день и явился вечером навеселе с каким-то мужчиной.

— Где ты пропадал? — спросила Тикуса.

— Знакомьтесь, матушка, родной брат мой сыскался, младше меня на двенадцать годков. Воевал, ордена имеет, а теперь работает на автомобильном заводе мастером и проживает в Сокольниках.

— Рада вас видеть, любезненький. Геронтий-то очень хотел с кем-нибудь из родичей свидеться, вот и хорошо, что удалось ему. Нашел он тут как-то еще одного брата, так тот его и на порог не пустил.

— А... это Степку! — и младший Бриллиантов расхохотался. — Он у нас из тех, кто всего на свете боится. Сидит, как крот в своей норе. Я с ним дел не имею и Григорию не советую.

— Матушка, Саша вот говорит, что я мог бы остаться в Москве у него, получить прописку, устроиться тоже на работу. В самом деле, а не оставить ли нам эту свою затею?

— Что ты, что ты! Как можно митрополию оставить? А завещание митрополита Пафнутия? Разве можем мы нарушать волю покойного? Грех великий падет на головы наши. И ты уже задумал от всего отказаться, сбежать от меня, неблагодарный? — Тикуса заплакала.

— Простите, матушка, не огорчайтесь, не надо. Я ведь это несерьезно. Так только, думаю, что этот выход годится на крайний случай, если ничего у нас не получится, да и то не уверен.

А через несколько дней в страстную субботу, накануне пасхи, священноинок снова пришел подвыпившим. Матушка Тикуса стала его отчитывать.

— Ты что же это нас позоришь, а? Сегодня ко всенощной идти, а как ты будешь выглядеть? Заметит кто — стыда не оберешься.

— Что упрекаете, матушка? Понять меня нетрудно. Не знаю, куда деваться, куда голову приклонить. Никому-то я не нужен. И в Белой Кринице — тоже.

— Ищь, расплакался! Тебе ли жаловаться? Ты, Геронтий, меня лучше пожалей: стара, кости болят, а сунулась в это дело. Али не можешь в руках себя держать? Не подведи, смотри, меня, Геронтий! Ведь я *за тебя* перед всеми ратую. А пока,— чем молоть пустоето,— давай-ка проспись иди, а потом уж ко всенощной пойдем.

Геронтий виновато поплелся спать.

Но когда подошло время идти в собор, Тикуса уже не смогла его добудиться и, опечаленная, пошла в церковь одна.

Праздничный храм был ярко освещен множеством свечей и огромным паникадилом. Подсвечники и оклады икон сверкали начищенной бронзой и позолотой. Народу было полным-полно.

У Тикусы при виде этого великолепия поднялось настроение. Как будто и не было всего того, что ее угнетало, все куда-то исчезло, растаяло, как дым. Она вся подалась вперед, чтобы ничего не пропустить из службы, и радостно вслушивалась в голоса тех, кто ее вел так замечательно — то были: сам архиепископ Иринарх, преосвященный епископ Григорий, протоиерей отец Василий, епископы периферийных епархий. Крестный ход вокруг храма совершался очень торжественно и был многолюдным.

К утру, когда Тикуса, уже еле на ногах стояла, явился бодрый и хорошо выспавшийся Геронтий.

— Христос воскресе, матшка,— подошел он к ней.

— Воистине воскресе. Тьфу, водкой-то как от тебя разит!

— Простите, матушка, искусился я по случаю воскресения Христова с протодьяконом Александром. Ух, и голосище у него! Мы с ним поспорили — кто кого перепоет.

— Да не дыши ты на меня хотя бы,— рассердилась Тикуса вконец.

Хор запел мощно «Христос воскресе из мертвых,

смертию смерть поправ...» Ему стали подпевать собравшиеся в церкви. Потихоньку подхватила и Тикуса. Геронтий тоже осмелел. Его голос сразу же стал выделяться среди других, и на него посматривали в удивлении.

— Вот и перепел я протодьякона Александра,—шепнул он на ухо Тикусе.

После праздничной литургии к нему подошел Абрикосов.

— Хорошо, очень хорошо поете, отец Геронтий. Сам владыка хочет вас видеть.

Геронтий подошел к щуплому маленькому старичку в пышном облачении — архиепископу Московскому и всея Руси, который после долгой службы еле держался на ногах, и смиренно наклонил голову.

Архиепископ перекрестил Геронтия и дал поцеловать свою руку.

— Тебе бы служить в нашем храме, сын мой. Подумай об этом.

— А как же митрополия, владыка святый?

— Скоро, скоро все решится, потерпи еще несколько дней.

Геронтий снова облобызал руку владыки, стараясь дышать в сторону. А тот обратился к Абрикосову:

— Ты уж постарайся угостить гостей наших как следует по случаю такого праздника.

Когда Геронтий передал эти слова матушке Тикусе, та заметила:

— Мог бы владыка и к себе пригласить нас, обласкать своим вниманием. Да нет уж больше авторитета у митрополии, и мы ничего здесь не значим.

Уже немало поездили Тикуса и Геронтий по Москве, не раз побывали в Андронниковом монастыре, где три века назад был заточен протопоп Аввакум, не одну беседу провели с рядовым священством в архиепископии, а все еще не были удостоены приема высокопреосвященным Иринархом.

В этот день после литурии они прошли в канцелярию, где собрались члены совета архиепископии. Не было только архиепископа Иринарха. Заметив это, матушка Тикуса прошептала Геронтию на ухо:

— Видишь, как в нашем лице хотят митрополию унизить. До чего дожили...

Все встали со своих мест, прочитали вместе молитву, и Абрикосов представил членам совета белокриницких гостей.

— Прошу вас, расскажите еще раз о целях вашего приезда,— сказал он, обращаясь к Тикусе.

И снова ей пришлось объяснять, что Белокриницкая митрополия находится в бедственном положении и под угрозой распада, что они сюда прибыли, чтобы воспрепятствовать этому.

От имени совета архиепископии Абрикосов предоставил слово отцу Василию, настоятелю Покровского собора. Тот пространно говорил о добрых чувствах, которые питают московские священнослужители к своим белокриницким братьям, об историческом значении митрополии и необходимости беречь святыни, которые в ней имеются. В заключение же, обращаясь к Тикусе и Геронтию, он сказал:

— Мы сочувствуем всем, кто остался в Белой Кринице, но мы не должны забывать, что митрополия изжила себя, распалась закономерно, а не в силу обстоятельств. Примите это во внимание, дорогие гости. Сейчас все религии равны, это не прежнее время, когда старообрядцев преследовали и за далеким Сирстом им пришлось создавать свой центр. Теперь центр должен быть единым и, конечно, находиться в Москве, где есть для этого все условия. На голом месте его не создашь, архиепископия служит основой для этого центра. Мы стремимся и должны стремиться, чтобы именно отсюда, с Рогожского, все приверженцы нашей веры получили руководство, и нет нужды повторять, почему так.

Что же касается низложения бывшего митрополита Тихона, то в этом мы не видим никакой необходимости, ибо он, бежав из страны и находясь за границей, оставил митрополию и тем самым лишил себя высокого сана. Само собой разумеется, что Московская архиепископия не может подчиняться такому лицу и считаться с его волей, да и Белая Криница может считать, что ему уже не принадлежит право возглавлять ее. Хочу еще сказать вам, что мы не намерены посылать туда, на границу, нового митрополита. Мы высоко ценим ваши заслуги, священноинок Геронтий, и ваши, матушка Тикуса. Вы сделали все, чтобы спасти митрополию, приложили к тому столько усилий... но, повторяю, она изжила себя исторически, и все, что вы предпринимаете, — напрасный труд.

Возвести священноинока в сан епископа из-за отсутствия свободных мест нет никакой возможности. Однако высокопреосвященный Иринарх просил передать вам свою благосклонность и возможность осуществить это в Москве позже, в более подходящее время.

Члены совета архиепископии одобрительно загудели.

— Хочу, однако, предупредить вас, чтобы вы не расценивали наш ответ как окончательный. Лишь освященный собор может принять окончательное решение, хотя есть все основания предполагать, что это решение не разойдется с мнением совета архиепископии.

Отец Василий кончил, и Абрикосов сам взял слово. Однако оно было очень кратким:

— Дорогие гости, я хотел бы поставить вас в известность, что вопрос об оказании Белой Кринице финансовой помощи будет рассмотрен на ближайшем заседании совета архиепископии после тщательного изучения состояния дел в бывшей митрополии и при условии, что нам будут переданы некоторые из ее реликвий. Но уже сейчас мы готовы оказать сестрам женского монастыря необходимую финансовую и продовольственную помощь.

Гордо распрямившись, встала матушка Тикуса. Она пыталась не подавать вида, но слезы подступали то и дело и мешали ей держать речь.

— Обидно мне говорить это вам, святителям, но не могу не сказать на прощание. Для нас ясно, что архиепископ Иринарх отказывается нас принять и что совет архиепископии будет созван, с тем чтобы обсудить вопрос выделения нам существенной помощи, лишь после того как сюда поступят дорогие нашему сердцу святыни, на что мы пойти не можем. Не можем мы больше ждать и надеяться. Нам ничего не остается более, как вернуться домой.

Мы поняли одно: архиепископия желает сама главенствовать над старообрядческой церковью и ее не волнует, что митрополия брошена на произвол судьбы. А кто повинен в ее незавидной участи? В этом вы разобраться не хотите. Ничего, бог разберется! Бог свидетель, что не искали мы, ехавши сюда, недозволенного, а хлопотали о святом деле. Горько уезжать нам восвояси, потеряв последнюю надежду. Однако утешение остается — быть до конца в стенах твердыни, что сто лет пеклась о старообрядцах и слала всем им благословение в их вере. Что ж, прощайте!

После молитвы и прощальной трапезы гостей в тот же день проводили на вокзал, вручив маленькие подарки для монахинь, небольшую сумму денег и квитанцию на несколько ящиков с продуктами, посылаемых багажом для женской обители.

— Теперь только чудо может спасти митрополию,— сказал Геронтий, когда поезд тронулся.

— Нечего надеяться на чудо,— проворчала Тикуса и сказала решительно:— Хватит нам обивать пороги, надо попытаться еще уговорить епископа Софрония возвести тебя в архиереи. А вдруг дело выгорит.

— Ой, ли...

* * *

О своем возвращении Тикуса и Геронтий сообщили телеграммой. Игуменья послала белицу Нюшу встречать их в Черновцы. Там они все трое сели в телегу и направились в обитель. Хоть и невелико расстояние — всего тридцать километров,— а ехали почти целый день.

Тикуса радовалась, что скоро будет среди своих, радовалась буйному весеннему цветению, которое видела вокруг, свежей зелени заливных лугов, красоте фруктовых деревьев. Она с наслаждением вдыхала свежий воздух, в котором пахло нагретой солнцем травой, и вздыхала иногда от полноты чувств. Геронтий уснул.

— Пускай поспит. Приедем, рассказывать нужно будет обо всем, засидимся вечером,— сказала она Нюше.— А ты расскажи мне пока, как тут жили-поживали без нас.

— Благодарение господу, все у нас шло, как обычно. Только с едой еле-еле дотянули. На пасху, как вы велели, выдала я всем сестрам по пятку яичек да по куличу спекли из остатков мучицы. После всенощной общую трапезу справили. Тут все еще по крашеному яичку получили да щей из пшена с кислой капустой наварили. Теперь, слава богу, трава пошла, так сестры кислицу, крапиву и полевой лук собирают.

— Матушка Поликсения, поди, недовольна, что мы задержались так?

— Сперва она все ворчала, что вы там на московских пряниках засиделись и домой не торопитесь, а потом стала беспокоиться. Даже молебны о вашем здравии отслужила.

— А как епископ Софроний, в здравии?

— Болеет, матушка, все болеет, еще хуже, чем раньше. Последнюю неделю и к службе не ходил, а после пасхи слег совсем. На боли в груди жалуется, опух.

— Вы бы в баньку его сводили, да грудь редькой неплохо растереть...

— Сделаем. А пока у матушки игуменьи и так голова кругом идет.

— Что так?

— Неприятность у нас большая вышла.

— Что там еще приключилось?— побледнела Тикуса.— Стоит вас только оставить одних, как что-нибудь да приключится!

— Отца Ипполита арестовали, матушка. Сбежать он от нас хотел и литой золотой крест из церкви с собой прихватил. Епископ Софроний с той поры и слег. И мы-то все тоже чуть больными не сделались.

— Когда же это учудил он?

— На пасху, матушка, на пасху. Прямо со всенощной ушел.

— Спаси и помилуй нас, господи,— перекрестилась Тикуса.— А что еще случилось у вас?

— Еще двое ушли из обители. Соборную матушку Филарету забрал какой-то сродственник, а Елизавета ушла в свою деревню: говорят, что ее бывший жених овдовел.

— Ну и бог с ними, тужить не о ком,— махнула рукой Тикуса.— Вот отец Ипполит учудил — тут впрямь хорошего мало.

— А еще намедни, матушка, у нас свара большая получилась. Матушки Поликсения и Феофания заставляют сестер все часы выстаивать. А те совсем отощали, ослабели — на пустой желудок в холодном храме не больно долго выдюжишь. Им надо и о пропитании подумать: травку пособирать, рукоделием заняться, в Черновцы на рынок съездить, чтобы выручить за свой труд хоть малость какую. Да матушки не дают, боятся их из виду выпустить и не доверяют им. Вот сестры и взбунтовались, подняли шум-гам. Я думала, они разорвут игуменью. Ты, говорит, золота нажила, и куда уж тебе нас жалеть, не способна ты на это. Тебе, мол, видно, нравится голодом нас морить. Часа два сильно так бранились. Игуменья испугалась, да потом матушка Феофания прибежала ей на помощь и стала сестер обзы-

вать по-всякому, вспоминать им такое, что и повторить зазорно. Так они ее маленько даже за волосы потаскали. Слава богу, все хорошо кончилось, все утихомирилось после того, как соборные матушки вмешались. А матушка Феофания приболела с расстройства, на голову жалуется, с постели подняться не может.

— Чужих-то хоть не было при этом?

— Как раз несколько старушек и стариков из села все это наблюдали в храме.

— Неужто в храме такое постыдное дело было?

— Вот именно, матушка. Так теперь перед прихожанами совестно, что и не передашь.

— Огороды-то обрабатываете?

— Да так, с грехом пополам, трудницы-то голодные, силенок не имеют.

— Ну ничего, я их теперь маленько подкормлю, сердешных. Да и семян разных везу.

Встречали прибывших дружно. Ахая, с радостными восклицаниями обняла Тикусу настоятельница монастыря. Впервые экономка увидела слезы в ее глазах. Сестры окружили подводу, улыбаясь, здоровались по очереди. Геронтий сразу пошел в свою церковь.

— Как без меня поживали, милые?— спросила Тикуса ласково.

— Ох, матушка, какое житье... еле ноги волочим...

— Ничего, милые, ничего. Я вам привезла кое-что, перебьемся пока как-нибудь, а там бог поможет. Завтра на общую трапезу перейдем. А сейчас, Нюша, вели для всех чай приготовить и вот эту корзину распаковать. Идите, милые, все в трапезную. Возьми-ка, Нюша, там в узле сверху плитку кирпичного чая.

— На один раз, матушка, столько?

— А чего же? Для них и везла. Пусть чайком отогреваются, давно такого не пивали.

— Ну, а ты заходи ко мне,— пригласила игуменья,— побеседовать нам надо. Самовар уже готов, тоже выпьем чайку с тобой.

Они пошли в домик матушки Поликсении.

— Что задержалась так сильно, Тикусочка?

— Не по доброй воле, матушка, не по своему хотению.

— А добились ли чего-нибудь?— с нетерпением спросила настоятельница.

— Сама видишь: с чем уехали, с тем и воротились. Да ты тоске-то не поддавайся, матушка, без них обойдемся,— успокаивающе сказала Тикуса.— Гордыня заела московских святителей, началить хотят над всеми древлеправославными христианами. Ну и пусть.

— А что, как к митрополии отнеслись?

— Отжила, говорят, она свое, и нет, говорят, в ней никакой надобности.

— Боже милостивый! Неужто и в самом деле ее век кончился? А ведь в каком почете была еще недавно...

— Была, что и говорить. А теперь, матушка, все рушится, и только от нас зависит спасти ее. Ты пошли за епископом Софронием, пусть и он послушает, что я расскажу.

— Нездоровится ему, Тикусочка: подкосил его отец Ипполит, такое выкинул, что слег совсем владыка. Придется тебе потом ему отдельно все рассказать. А сейчас пока мне сказывай.

— С отцом Ипполитом-то что?

Матушка Поликсения подробно рассказала, как был задержан отец Ипполит.

— И ни в чем не сознается, уверяет, что бежать не хотел. А почему же тогда взял крест золотой? Не хочет правду сказать, что из церкви его взял.

— И что теперь с ним будет?

— Не знаю. Увезли его в Черновцы, а там ни к кому не подъедешь.

Потом рассказала подробно о своей поездке в Москву матушка Тикуса. Когда игуменья получила все сведения, какие хотела, они пошли в трапезную. Там Тикуса раздала подарки: шерсть на апостольники — матушкам Поликсении, Касьянии и Феофании и по отрезу черного сатина — для сестер. Епископу она отложила толстое сукно на зимнее облачение. Поговорив с сестрами, она взяла его и направилась к больному.

Вид владыки очень обеспокоил ее. Всегда бледное лицо его стало одутловатым, грудь тяжело, со свистом дышала, лоб был покрыт испариной.

«Не жить ему долго»,— тоскливо подумала Тикуса и решила, не откладывая, изложить старику свое заветное желание, после того как кратко рассказала о результатах поездки в Москву.

— Теперь вся надежда только на вас, владыка святый.

— А что я могу, Тикусочка?— слабо ответил больной.— Моченьки моей больше нет что-то делать, силы ушли...

— Вы и не будете ничего делать, владыка святый. Мы все подготовим, а вы рукоположите священноинока в епископы.

— За Геронтия все хлопочешь?

— За митрополию. Да и грех не выполнить завещание высокопреосвященного Пафнутия.

— Ладно, вели все готовить к хиротонованию, и завтра утром свершится это.— Епископ закрыл глаза, давая понять, что устал и не хочет больше говорить.

Тикуса быстро пошла к Геронтию.

— Видел я его, матушка. Плох он,— сказал священноинок.— Боюсь, протянет ли до утра...

— Молчи, не каркай! За одну ночь, небось, ничего не случится. Не первый день лежит. Завтра врача ему привезем.

— Дай бог, матушка.

Ночью епископу Софронию стало хуже. Начался новый сердечный приступ. Тикусу разбудили, и она тотчас прибежала.

— Умирает владыка, благодетельница, — сказал ей дежуривший возле постели инок.— Геронтия зовет для исповеди.

Послали за фельдшером. Тикуса распорядилась обложить больного грелками и дать сердечного настоя, а у самой из головы не выходило: «Напрасно я вчера Геронтия не послушалась: надо было сразу хиротоновать, как дал согласие».

Вошел священноинок. Перекрестился и наклонился к владыке.

— Не могу... говорить,— прошептал тот.

Геронтий мрачно взглянул на Тикусу. Она, минуту подумала, велела разбудить игуменью и ее сестер.

— Пусть сейчас же идут сюда, владыка будет священноинока Геронтия в архиереи хиротоновать, а о его здравии пусть молитвы читают, да неугасимую надо зажечь.

Пришел разбуженный иноком сельский фельдшер, осмотрел, прослушал больного.

— Похоже на инфаркт миокарда,— сообщил он свое мнение.— До утра вряд ли протянет. Пошлите за вра-

чом в Глыбоку и все уйдите, ему нужен полный покой.

Сделав укол и дав лекарство, фельдшер ушел, пообещав вскорости снова прийти.

В соседней комнате матушки стали совещаться с Тикусой.

— Что делать-то будем? Плох владыка. Умрет — некому хиротоновать будет.

— Надо немедленно хиротоновать,— сказала игуменья.

— Так ведь трогать владыку нельзя, как же пойти в церковь?

— Можно и не в церкви. Раз так вышло — у постели все сделаем. Молитву за владыку прочитаем и нужные слова скажем. Надо будет только руки его положить на голову священноинока.

Геронтий быстро надел праздничную ризу, подготовил митру, и все зашли к владыке. Однако он был уже без сознания.

— Кто же грамоту о хиротоновании подпишет, матушка?— спросила Касьяния.

— А ты подготовь ее. Как очнется — подпишет, а нет — так сама подпишу.— И игуменья ударила в кандию.

Уставщица начала читать бумагу:

«Аз смиренный Софроний, епископ Белокриницкий, божьим премудрым промышлением удостоившийся держать архиерейский престол с общего согласия освященного собора по установленным для сего престола правилам соизволил поставить священноинока Геронтия в звании епископа...»

Когда весь положенный ритуал был закончен, священноинок наклонился над больным. Матушка Касьяния взяла руки больного, чтобы положить их на голову Геронтию, но вдруг вскрикнула: руки были холодны.

— Немного не успели,— с досадой сказала матушка Поликсения.

— Упокой, господи, душу раба твоего,— перекрестилась Тикуса.

— Беги, Нюшенька, скажи звонарке, пусть бьет погребальное.

Священноинок встал на колени перед образом Спаса и склонил голову. Прочитав молитву, он вышел.

Позже матушка Поликсения захотела его поздравить с архиерейским чином и послала за ним, но его

нигде не нашли. Не появился он и в селе. Ждали целый день, но напрасно.

Епископа Софрония хоронить пришлось без священника. Геронтия же в Белой Кринице с тех пор никто не видел.

— Как же посмел он нас бросить!— возмущались матушки.— Хиротонование-то состоялось...

Они искренне оплакивали последнюю свою несбывшуюся надежду.

Лето было сухое и знойное, и монастырских опять постиг неурожай. Пшеница и рожь выколосились плохо, а кукуруза была похожа на худые коровьи хвосты. Мало что уродилось и в огородах. Летом и осенью в женской обители еще кое-как перебивались, а к зиме стали опять голодать. Распродав остатки монастырского скота, купили муки, но ее было маловато. В запаснике лежали только несколько мешков желудей и сушеные грибы, собранные осенью в лесу, да шиповник и сухая крапива.

Жить стало совсем трудно. В начале декабря пришлось закрыть трапезную, и теперь каждая из сестер должна была сама думать о своем пропитании. Они пряли шерсть и лен, вязали теплые вещи и продавали это на базаре, а на вырученные деньги покупали продукты.

Тикуса была озабочена тем, как прокормить стариц, которые стали совсем беспомощными и начали болеть. Она уже продала многое из своих личных вещей и теперь взялась за церковные. На вырученные деньги она варила с Нюшей кашу и кукурузную похлебку матушкам.

Оставалась в обители еще одна худенькая лошаденка. Пришел день, когда Тикуса запрягла ее и с тяжелым сердцем повезла продавать в Черновцы бесценную, на ее взгляд, мраморную плащаницу. Почти даром досталась она никонианцам из церкви на Русской улице: только мешок кукурузной муки да немного хлопкового и льняного масла привезла домой матушка.

Перед рождеством снова хотела поехать в город, чтобы продать что-нибудь из облачений, но начались такие бураны, что дороги стали непроезжими. В лес за хворостом пойти тоже стало невозможным. Пришлось разбирать на дрова сарай. Теперь уже не Тикуса посылала гостинцы племяннице, а та старалась что-нибудь

привезти ей из Черновцов, хотя знала, что это идет в общий котел. Чаще всего она отдавала тетке часть продуктов, которые посылал ей Поликарп.

Тикуса проявляла большую изобретательность, чтобы хоть как-то обеспечить стариц едой: пекла на лампадном масле лепешки из мякины, варила настои из хвои и шиповника, молола на муку стебли камыша, ловила залетавших в храм ворон. Но голод все равно царил в обители, и многие из соборных матушек так ослабли, что были не в состоянии отапливать свои кельи. Тогда Тикуса предложила им временно жить всем вместе в зимнем деревянном храме. Его всегда отапливали, чтобы можно было молиться. Поставили здесь еще одну чугунную печку для приготовления пищи, пол в правом приделе застелили собранными по монастырю коврами и стали на них спать, укрываясь принесенными из келий одеялами. «Только бы продержаться нам до весны, а там начнется тепло, пойдет снова зелень»,— думала Тикуса. Но время, как назло, тянулось медленно.

В январе скончались две престарелые матушки и одна из сестер. Многие в обители опухли от голода и не вставали на ноги. С большим трудом передвигалась теперь и Тикуса. А те, кого силы еще не оставили, особенно старательно молились, постоянно читали в церкви евангелие и псалтырь. Теперь вместо священноинока службу вела уставщица Феофания.

В первую неделю великого поста в селе открыли питательный пункт, где каждый мог получить немного хлеба, мясного супа и молочной каши. Предложили питаться здесь и монахиням. Но никто из них не захотел воспользоваться этим. Заикнулась было матушка Тикуса, что следовало бы подкармливать хотя бы больных, но на нее со всех сторон зашикали: суровы старообрядческие каноны, не позволяют они прикасаться в дни поста к мясной и молочной пище. Даже хлеба взять не захотели старицы «от безбожников».

Аннушка много раз уговаривала Тикусу оставить монастырь и переехать к ней, но тщетно.

— Мое место здесь, маков цвет, вместе со всеми,— говорила тетка.- На чьи руки оставлю монастырское и митрополичье добро? Растащат все. По рукам и ногам я связана, и ничего мне не остается, как испить свою горькую чашу до дна.

Вскоре умерли в обители еще две старицы. В сель-

ском Совете забеспокоились. В монастырь неожиданно нагрянула комиссия из районного отдела здравоохранения. Как ни противились матушки и сестры, их всех подвергли тщательному медицинскому осмотру. Врачи обнаружили у большинства тяжелейшую дистрофию и различные другие заболевания. Монастырь было решено временно закрыть, а истощенных монахинь госпитализировать.

На другой день одна за другой к обители стали подъезжать санитарные машины. На них ослабевших монахинь увозили в Глыбоку и Черновцы. Они подняли крик, плакали, стали прятаться по чердакам и подвалам, две или три даже ушли в лес. Церковь, собор, кладовые и кельи опечатали. В обители остались только игуменья, ее сестры — казначейша и уставщица да Тикуса с белицей Нюшей. Стало тихо и пусто. Словно неприкаянные, бродили оставшиеся из угла в угол.

* *

В марте одна из сельских старух занесла слух в обитель, что из Черновцов должны приехать за монастырским добром. Все три матушки встревожились. Хотели кое-что развезти по домам, где жили люди, до сих пор преданные им, и спрятать там, да кобыла сдохла.

Совсем приуныла Тикуса. Целую ночь не спала, все решала, как быть. К утру стала сердиться: за окнами шел снег, а он ей был ни к чему при том, что она задумала.

Но когда она встала, погода была тихая, выглянуло солнце.

— Вот и хорошо,— сказала Тикуса белице,— хоть и насыпало снежку, да зато теперь сможем с божьей помощью дело сделать. Зови, Нюша, матушек на совет, будем сегодня все прятать.

— Надо бы, матушка, самим сперва кое-что вынести,— предложила Нюша.

— И верно, сперва потрудимся сами, а потом уже и с матушками. Где у нас мешки?

— Мешки и санки — все под крыльцом.

— Забирай их, открывай подвал и начнем.

Они спустились в подвал Покровского собора. Не зажигая свечей, ощупью стали набивать мешки церковными облачениями, золотыми и серебряными крестами, дорогими сосудами. Несмотря на голод, продать что-ни-

будь из этого добра Тикуса не посмела: его считали неприкосновенным. Еле вытянули мешки по узкой и темной лестнице, уложили на санки и увезли в домик, что стоял через дорогу от женской обители и был осенью куплен Тикусой у стариков, переехавших в город к сыну. Там побросали все в заранее устроенную потайную кладовку и вернулись в собор. Таскали всю ночь без передышки, но вынести успели лишь незначительную часть того, что, по их мнению, следовало бы сберечь. Иконы оставили на завтра.

На другой день вечером Тикуса сказала матушкам:

— Помогайте, дорогие мои, спасать добро.

— Может, спасать толку не будет? Может, сжечь, уничтожить все надо, чтобы в руки к безбожникам не попало? Не будет ли так вернее?— спросила исступленно матушка Феофания.

— Разве тебе не жалко все сжечь?— удивилась Тикуса.— Пока мы еще тут, надо просто попрятать все.

— Собор-то опечатан, Тикусочка,— печально напомнила Поликсения,— а основное все там.

— А ты забыла, что из подвала в него ход есть?

— Худа бы какого не было, кормилица,— сказала казначейша Касьяния.

— Все худо позади. Чего нам бояться? Семь бед — один ответ, не чужое красть будем, а свое спасать.

— А куда все денем?

— Иконы и облачения в баньку к Евдокиму снесем, а вот антиминсы и алтарную утварь следует схоронить получше. Подумать надобно.

— А святые мощи?

— Они в зимней церкви, а пробраться туда можно лишь днем. Печать с дверей снять придется. Да мы за разговорами только время теряем, давайте лучше сейчас же приступим.

Ночь трудились без отдыха, но все вынести не успели. Одних священных облачений было более пятидесяти. А сколько икон, крестов, ладана, воска было в ризнице! Тяжеловато пришлось матушкам. Кое-что спрятали временно в сугробы возле собора. К церковным тайникам пока не прикасались.

— Идемте спать, осталось еще немного на завтра и послезавтра,— сказала донельзя уставшая Тикуса, когда рассвело.

— И то правда. *Ты* у нас теперь голова, *тебя* слушаемся,— улыбнулась игуменья.

В домике Тикусы, что прилепился к зимней церквушке и который она собиралась оставить навсегда, было холодно, но матушка и Нюша сразу же забылись сном. Тикуса спала неспокойно, ей снилось, что кто-то пробрался в церковь и хватает иконы, хочет их унести. Проснулась она от того, что Нюша трясла ее за плечи.

— Матушка, матушка, вставайте! Да вставайте же, наконец!— кричала белица вне себя.— Обитель горит!

Тикуса соскочила с постели, бросилась к окну. Она увидела, что огонь уже вовсю бушевал в верхней части церквушки.

В дверь кто-то громко забарабанил, и снаружи закричали:

— Пожар! Пожар! Выходите скорей, а то сгорите!

Тикуса дрожащими руками открыла дверь и увидела на монастырском дворе людей.

— Выходите скорей,— сказала она матушкам и, накинув старую шубку, шагнула за порог. Сойдя с крыльца, она увидела, что передняя стена дома горит.

Матушки Поликсения и Касьяния торопливо оделись. Крича и хватаясь за головы, они выскочили во двор и стали по нему бестолково метаться.

— А Феофания где?— спросила Тикуса у Нюши.

— Не знаю, ее не было, когда я проснулась. Да потом сыщется, а сейчас давайте вынесем, что успеем. Жалко добро-то.

— Да о чем гуторишь, девонька,— сказал стоявший рядом старик.— Не видишь — в сенцах уже пылает. Мужики послали за пожарными, они шланг притащат, будут поливать. Из ведер вон плещут, да разве зальешь такое пламя-то.

— Бог с ним, с добром,— сказала Тикуса.— И чего оно сто́ит, когда гибнет такая святыня!

— Да как же, матушка, голыми совсем останемся,— запричитала Нюша,— хоть одежонку какую вынести.

Несколько парней выломали оконные рамы в задней стене, проникли в дом и стали выбрасывать оттуда во двор узлы и иконы.

— Люди добрые, зачем мне это?— воскликнула Тикуса в отчаянии.— Умоляю вас, спасите мощи святых младенцев!

Двое мужчин побежали к церковным дверям, сбили с них тяжелый замок, распахнули их настежь. Черные клубы дыма повалили из дверей.

Матушка Тикуса застегнула свою шубку и, перекрестясь, устремилась в них с молитвой: «Отче наш, иже еси на небеси...»

Забили в набат на колокольне сельской церкви.

— Держите ее, безумную!— закричали люди.— Сгорит ведь!

Но никто и оглянуться не успел, как она уже скрылась внутри церкви. Когда подоспели подводы с пожарниками, домик Тикусы уже почти весь сгорел.

— Спасите матушку!— плача просила собравшихся Нюша.

Нашелся смельчак, который решил броситься в церковь искать старушку. Он смочил водой холщовый мешок, натянул на голову и уже собрался это сделать, как вдруг в проеме церковных дверей показалась черная фигура Тикусы. Все ахнули. Она была вся в саже, и одежда на ней дымилась. Выбившиеся из-под платка волосы были опалены, в вытянутых вперед руках она держала серебряные раки с персидскими мощами.

— Чудо! Чудо свершилось!— истерично закричала игуменья и, обратясь к толпе, сказала:

— Потушат они огонь или не потушат,— она показала на пожарников, быстро орудующих насосами и шлангами,— теперь уже все равно. Господь бог не допустил гибели святых мощей и вывел невредимой их спасительницу. Разве он не чудо явил нам? На колени, православные, на колени!

Люди качали головами. И только несколько стариков и старух, согласившись, видимо, что произошло чудо, упали на колени и стали молиться.

Матушка же Тикуса, прижав к себе раки, побежала прочь. Запнувшись, она упала в сугроб, и они вылетели из ее рук. Молодой парень подбежал к ней, хотел помочь, но она его оттолкнула.

— Ступай прочь!

Поднявшись и схватив раки, она побежала за монастырский двор. Никто не посмел ее удержать.

* *

— Что случилось?— удивилась Аннушка, когда Вдовин разыскал ее в институте.

— Только не пугайтесь, пожалуйста... Мне позвонили из Белой Криницы, что в женской обители пожар. Мы можем сразу же туда поехать.

Аннушка кивнула, молча оделась, и они сели в машину майора.

Когда приехали, пожар был уже потушен. Чернел окруженный белым снегом остов сгоревшей церквушки. На месте домика Тикусы была куча обгорелых бревен и досок.

У пепелища в горестном молчании стояли матушки Поликсения и Касьяния. Они были в полной растерянности: их сестра Феофания не появлялась и Тикуса куда-то скрылась. Белица Нюша сидела на Тикусиных узлах и зябко поеживалась.

— Куда ушла матушка Тикуса?— спросила ее Аннушка.

— Туда,— Нюша показала в конец села.— Мы ее искали, но ее нигде нет.

— Может, она зашла к кому-нибудь?

— Спрашивали, никто нам ничего сказать не может, и в домике, который она купила и в котором жить собиралась, ее тоже нет.

— Что ж, будем теперь мы искать,— сказал Вдовин.

Они пошли в сельсовет и попросили, чтобы дежурные обошли все дома. В селе Тикусы не оказалось, но вскоре Меркулову сообщили, что ее видели на Красноильской дороге. Несколько молодых парней по просьбе председателя сельсовета направились туда на лыжах.

Уже через час Тикусу нашли. Выбившаяся из сил, полузамерзшая, она сидела у обочины, прислонясь к большому сугробу. Головной платок у нее съехал на сторону, и седые волосы беспорядочно спускались на лицо, которое было покрыто волдырями. Однако она ни за что не хотела выпустить из окоченелых рук раки с мощами.

Пока Аннушка отогревала ее в сельсовете и оказывала ей первую помощь, шофер вместе с Нюшей перенес лежавшие во дворе монастыря вещи в другой домик Тикусы, который ей предстояло обжить. Там Нюша и осталась ждать возвращения хозяйки. Аннушка договорилась с Меркуловым, что ее прикрепят к питательному пункту.

Тикусу в тот же день положили в Черновицкую областную больницу. Там она пролежала два месяца.

В день выписки за ней пришли Аннушка и Вдовин.

Растроганно поблагодарила старушка доктора, сестер и нянечек, выхаживавших ее, и тронулась в путь, не захотев остаться в городе у племянницы. Ее потянуло поближе к обители.

Выяснить, отчего загорелась церковь, так и не удалось. Позднее матушка Поликсения по секрету сказала Тикусе, что она считает виновницей пожара свою сестру Феофанию, которая, видимо, пробралась на колокольню и там совершила поджог. Игуменья предполагала, что сама Феофания сгорела в церкви.

Тикуса часто приходила на пепелище. В душе она так и не смогла смириться с тем, что все кончилось таким крахом и митрополии больше нет на свете.

* * *

Еще долго жила матушка Тикуса в маленьком домике напротив Покровского собора. Без малого сто лет она прожила. Еще дольше прожили в селе Белая Криница матушки Поликсения и Касьяния. Не приемля настоящего, сторонясь колхозной жизни, три престарелые женщины до конца своих дней скорбели о прошлом и фанатично верили в свое предназначение служить богу. Появилось в селе электричество, крестьяне радовались радио и телевидению, но трех старушек это не коснулось. При них были запущены искусственные спутники Земли и совершены первые полеты людей в космос, но они ничего не хотели об этом знать. Они молились, стояли на часах, исполняли все строго по старообрядческому церковному календарю так, как это было принято в их обители, и не имели больше никаких желаний.

Менее одинока из трех была, пожалуй, Тикуса: Аннушка, мечта которой сбылась (она стала врачом), жалела тетку и всячески старалась скрасить ее старость, частенько к ней приезжала. И Коля, когда вырос, не забывал бабушку, наведывался к ней. Поэтому матушки считали, что Тикусе живется лучше, чем им, и завидовали ей.

О существовании Белокриницкой митрополии теперь мало кто знает. Но стоит, как и прежде, в Белой Кринице необыкновенной красоты изразцовый храм, который справедливо называют «каменной сказкой Буковины», и напоминает он людям о прошлом.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3
Побег
Инокиня Анфиса 49
На перепутье 135
Тикусины хлопоты 176

Федор Дмитриевич Чащин

БЕЛАЯ КРИНИЦА

Зав. редакцией Е. Чемортан. Ответственный за выпуск Б. Кенигфест. Художник С. Солонарь. Художественный редактор Н. Тарасенко. Технический редактор Г Андреева. Корректор Н. Олейникова.

ИБ № 3009

Сдано в набор 06.12.1983. Подписано к печати 18.12.1984. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая с фотополимерных форм. Печатных листов 11.76. Усл. кр.-отт. 12,18. Уч. изд. листов 12,33. Тираж 100000. Зак. № 1190. Цена 55 коп.

Издательство «Картя Молдовеняскэ»
277004. Кишинев, пр. Ленина, 180

Центральная типография. 277035, Кишинев, ул. Флорилор, 1. Государственный к Молдавской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.